

СМО

Радужным

АВТОБИОГРАФИЯ

ДУХОВНО НЕПРАВИЛЬНОГО МИСТИКА

Ошо, может быть, величайшая Сущность, посетившая нашу планету в последние столетия, конечно же, не писал автобиографий. Эта книга составлена из отрывков его выступлений, лекций, ответов на вопросы и — изредка — информации, исходящей от других людей.

Ошо, будда-хулиган, пришедший «разворошить этот спящий муравейник», уже более десяти лет назад ушел с Земли, но как же ясно слышен его голос с каждой страницы этой и других его книг...

«Да, я — начало чего-то нового, но не новой религии. Я — начало новой религиозности, не ведающей ни названий, ни границ. Ей известна только свобода духа, безмолвие внутренней сущности, развитие потенциала, и, наконец, ощущение собственной благодати — не внешнего Бога, а переполняющей тебя божественности».

Ошо, может быть, величайшая Сущность, посетившая нашу планету в последние столетия, конечно же, не писал автобиографий. Эта книга составлена из отрывков его выступлений, лекций, ответов на вопросы и — изредка — информации, исходящей от других людей.

Ошо, будда-хулиган, пришедший разворошить этот «спящий муравейник», уже более десяти лет назад ушел с Земли, но как же ясно слышен его голос с каждой страницы этой и других его книг...

"Моя задача в том, чтобы создать поле Будды — особое энергетическое поле, где сможет родиться новое. Я — повивальная бабка, помогающая новому прийти в этот мир, где его пока не хотят принимать. Новому потребуется поддержка со стороны всех, кто понимает, кто мечтает о революции. Время пришло, наступило время родов. Самый подходящий срок, плод уже созрел. Сейчас новое уже может утвердиться, прорыв стал возможным.

Я учу новой религии, но совсем не похожей на христианство, иудаизм или индуизм. У этой религии не будет названий. Это религия — сугубо религиозное свойство человеческой целостности".

[Читать полный вариант книги](#)

ПРЕДИСЛОВИЕ ИЗДАТЕЛЯ

Ошо часто спрашивали, почему он не напишет автобиографию или просто не расскажет о себе человеку, который смог бы создать биографический очерк о его жизни. Но Ошо только отмахивался и говорил, что важны вечные истины, а не газетные вырезки, которые принято называть «историей». Иногда он говорил, что его биографию легко восстановить по уже существующим книгам, по сотням томов опубликованных бесед и тысячам преобразившихся жизней тех людей, которые с ним соприкасались.

Но человеческий ум привык постигать события, рассматривая их в размеренном течении времени. Мы пытаемся найти какие-то рамки — это убеждает нас самих, будто мы понимаем «смысл» происходящего, особенно когда происходящее выглядит противоречивым, странным, необычным. И сейчас перед вами книга, которая означает, что пришло время установить некие рамки времени, которые помогут понять Ошо и его работу.

Десять лет миновало с тех пор, как, по словам его личного врача, Ошо приготовился покинуть тело, служившее ему в течение 59 лет, причем сделал это «так спокойно, словно собирал чемоданы перед поездкой за город на выходные». Эта автобиография просто не могла быть составлена раньше, так как ее появлению способствовали случившиеся после смерти Ошо глубокие перемены. С тех пор как он «собрал чемоданы и уехал за город», на свете появились Си-Эн-Эн и Интернет. Утопические идеи Ошо, о которых он так часто рассказывал — идеи о мире без границ, без делений на расы и религии, без половой дискриминации, — если и не стали еще действительностью, то, по меньшей мере, перестали казаться чем-то совершенно невероятным. Медитация — то, что, как неустанно повторял Ошо, лежит в основе его вести людям, — перестала быть загадочным и мистическим объектом интереса редких оригиналов. Мир признал ее потенциальное могущество, благотворное влияние и целительные свойства, избавляющие как от стресса, так и от раковых опухолей. Иными словами, хотя Ошо, безусловно, до сих пор опережает время, современные люди уже начали понимать уникальность его взглядов и идей.

Говоря более практическим языком, время и технологии позволили хранителям обильного свода работ Ошо перевести в электронную форму и распространить по миру в общей сложности более 5000 часов записей его лекций на английском языке и сотни книг, переведенных с хинди. Это означает, что теперь любой человек может за считанные секунды узнать, что в своих беседах Ошо повторил слово «медитация» 25 тысяч раз, а слово «любовь» — около 42 тысяч раз. Многие считают, что в 60-е годы этот мистик слишком много говорил о сексе, но слово «секс» и его производные встречаются в его выступлениях лишь 9300 раз — лишь в полтора раза чаще, чем упоминания о «политике» и «политиках».

Конечно, поиски тех случаев, когда Ошо говорил о своей собственной жизни, требуют человеческого интеллекта, которым компьютерные программы не обладают. Эта задача потребовала трех лет упорного труда. К тому же попытка составить автобиографию из доступных материалов — тех самых, которые соответствуют представлениям самого Ошо об относительной важности «истины» в сравнении с «фактом», а вечного с мимолетным, — требовала отчаянного желания сделать невозможное.

Вот лишь один пример: по окончании университета Ошо несколько лет преподавал философию. Ум, ориентированный на факты, немедленно наклеит ярлык «бывший профессор философии» — и на этом успокоится, полагая, будто уже понял нечто важное об Ошо. Но Ошо с тем же успехом мог бы быть башмачником или плотником. Важно не что он делал, а каким был. Мышление, интересующееся только фактами, стремится определять людей по роду их занятий, а

не по внутренним свойствам, по достигнутым материальным успехам, а не прозрениям, которые те уносят с собой после смерти. Однако самого Ошо заботила именно категория «бытия», а не «действия» или «обладания». И тот, кто оценивает значимость внешних событий его жизни, опираясь на собственные представления о «делах» и «обретениях», непременно поймет Ошо превратно.

И все же, если отложить на время вечные истины, фактом остается то, что Ошо готовился не к башмачному или плотницкому делу, а к словесному выражению себя. Его друзья и враги единоклюбы в одном: говорил Ошо с необычайным красноречием, с удивительной пронзительностью и чувством юмора. Если бы Ошо преподавал какую-либо последовательную философию, было бы вполне возможно — пожалуй, даже легко — подобрать «верные» слова, описывающие его жизнь. Но у него не было такой философии. Эта задача была бы выполнима, если бы он относился к какой-то традиции либо объявлял себя неким сверхъестественным вестником или пророком, явившимся такую традицию установить. Но ничто не может быть дальше от истины. Напротив, он постоянно подчеркивал, что не только не относит себя к определенной традиции, но и делает все возможное, чтобы его не опутали сетями, какой бы то ни было традиции после смерти.

Итак, слова этой книги не должны — да и не могут, по самой природе человека, который рассказывает в ней о себе, — считаться четким ответом на вопрос: «Кто такой Ошо?» Это скорее толчок к непрерывному стремлению рассмотреть подобный вопрос в контексте вечности и времени, «бытия» и «действия». В конце концов, Ошо сказал, что мы поймем, кто он, лишь, когда поймем, кто мы сами. Бросая нам этот вызов, он предлагает научиться на примере его жизни тому, чему мы сможем научиться, не забывая в то же время, что все это имеет смысл лишь в том случае, если основной целью обучения остается постижение самих себя.

Сарито Кэрл Нейман.

Предисловие

Прежде всего, вы должны понять разницу между истиной и фактом. Обычная история занимается фактами — внешними событиями, тем, что происходит в мире материи. Истину она не учитывает, потому что истина не имеет к материальному миру никакого отношения. Это события, происходящие в сознании. Но человек еще не повзрослел настолько, чтобы интересоваться событиями в сознании.

Разумеется, люди замечают то, что случается во времени и пространстве. Это и есть факты. Но они еще не слишком проницательны, недостаточно зрелы, чтобы замечать происходящее вне времени и пространства — иными словами, вне разума, в сознании. Когда-нибудь люди перепишут всю историю с совершенно другой точки зрения, потому что факты — пустяк. Да, они материальны, но не имеют никакого значения. Истины нематериальны — но они-то на самом деле и важны.

Новый взгляд на историю будет больше интересоваться, что происходило в сознании Гаутамы Будды, когда он стал просветленным, — что происходило в нем на протяжении тех сорока двух лет после просветления, пока он пребывал в этом мире. Больше того, эти события не прервались и через сорок два года. Его история не закончилась тем мигмом, когда тело его стало мертвым. Это не связано с телом, все происходит в сознании — а сознание не гибнет. Паломничество сознания бесконечно. И то, что происходит где-то в глубине, в сознании, будет иметь отражение и за пределами тела. Это ведь так просто понять!

Вот и я расскажу вам историю о том, что происходит внутри...

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ОБЫЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ИЛИ ПРАВДА ВМЕСТО ЛЕГЕНДЫ

Вопрос: Так кто же вы?

Ответ: Я — это просто я. Не пророк, не мессия, не Христос. Самый обычный человек... такой же, как вы.

Вопрос: Но все-таки не совсем такой же?

Ответ: Верно... не совсем. Вы еще спите — но разница не так уж велика. Когда-то я тоже спал, а вы скоро проснетесь. Вы можете проснуться прямо сейчас, ничто этому не мешает. Так что разницы между нами почти никакой.

Из беседы с Робертой Грин, Santa Ana Register, округ Оранж, Калифорния

Впечатления золотого детства

Я никогда не был духовным в том смысле, в каком это понимают. Я никогда не ходил в храмы и церкви, я не читал писания, не соблюдал в поисках истины обряды, не поклонялся и не молился Богу. Это не мой путь. И потому любой может сказать, что я не делал ничего духовного. Но для меня духовность означает кое-что совершенно иное. Она подразумевает честность. Она не допускает никакой зависимости. Она тянется к свободе любой ценой — ради самой свободы. Не в толпе, а в одиночестве, ведь в толпе никогда не найти истину. Истину можно найти только в одиночестве.

Я понимаю духовность совсем не так, как другие. Истории из моего детства, если вы их поймете, тем или иным способом подчеркивают, что значит духовность в моем понимании. Никто не назовет эти истории одухотворенными. Но я считаю их духовными, потому что мне они дали все, чего только можно желать.

Слушая истории из моего детства, постарайтесь заметить их особые черты — не сам сюжет, а некую скрытую особенность, что тонкой нитью пронизывает все мои воспоминания. Вот эта тонкая нить и есть моя духовность.

Я понимаю духовность просто: это поиски себя. И я никогда не позволял кому-то заниматься этим за меня. Никто за тебя это не сделает, найти себя можешь только ты сам.

Я хорошо помню крошечную деревушку, где родился. Почему жизнь выбрала именно эту деревню, объяснить невозможно. Но так и должно было быть. Там было чудесно. Я объездил весь мир, но никогда не видел такой красоты. Впрочем, на свете нет ничего одинакового. Все рождается и гибнет, но в природе нет ничего совершенно одинакового.

Я закрываю глаза и ясно вижу ту тихую маленькую деревню: хижины у пруда и высокие деревья, где я играл. Школы там не было. Это нужно подчеркнуть, потому что я не получал никакого образования вплоть до девяти лет, а это важнейший период формирования личности. В определенном смысле я до сих пор необразован, хотя теперь у меня полно званий — и не просто званий, а ученых степеней. Но это по силам любому дураку. Ученые звания ежегодно получает столько дураков, что все эти степени ничего не значат. Для меня важно другое: первые годы жизни я был в стороне от образования. У нас не было ни школы, ни почты, ни вокзала, даже обычной дороги не было. Какое счастье! Наша деревушка была крохотным миром в себе. И я оставался в этом мире необразованности даже потом, когда покинул ту деревню.

Я видел миллионы людей, но жители той деревни были самыми невинными, ведь их жизнь была такой примитивной. Они ничего не знали о большом мире. В той деревне даже газет никогда не видели — теперь вам, наверное, понятно, почему там не было школы. Не было даже начальной школы — какой подарок судьбы! Нынешним детям такое счастье редко выпадает.

В прошлом детей женили прежде, чем им исполнялось десять лет. Иногда их женили еще до того, как они появлялись на свет. Два приятеля просто решали: «Наши жены беременны, так что если у одного родится мальчик, а у другого — девочка, они поженятся» — и по рукам. Никому и в голову не приходило спрашивать согласия у детей, тем более что дети эти еще не родились! Но если рождались дети разного пола, их женили. Люди держали свое слово.

Мою маму выдали замуж в семь лет, а отцу было тогда не больше десяти, и он вообще не понимал, что происходит. Я как-то спросил его: «Что в вашей свадьбе тебе больше всего понравилось?»

А он сказал: «Как я ехал на лошади». Ну естественно! Его ведь впервые нарядили как царя, повесили на пояс кинжал, и он восседал на коне, а все остальные шли рядом пешком. Конечно, это ему страшно понравилось. И это все, что он помнил о свадьбе. О медовом месяце тогда и не думали. О каком медовом месяце можно говорить, если мальчику десять лет, а девочке всего семь? В Индии никогда не было традиции медового месяца. Впрочем, в прошлом этого не было нигде на свете.

Когда папе было десять, а маме — семь, умерла мать моего отца. И уже через год-два после свадьбы вся ответственность легла на плечи моей мамы, а ей было тогда всего девять лет. У матери отца были еще маленькие дети: две девочки и два мальчика. Четверо детей, и заботиться о них должны были девятилетняя девочка и двенадцатилетний мальчик. Отец моего отца никогда не любил жить в городе, где он держал лавку. Он любил сельскую жизнь, и после смерти жены у него была полная свобода выбора. Государство в те времена раздавало землю бесплатно, потому что земли было много, а крестьян — не очень. Мой дед взял у государства участок в пятьдесят акров, а лавку отдал своим детям, моим родителям. Отцу было двенадцать, а маме — девять. Деду нравилось возиться в огороде, он хотел устроить ферму. Он вообще любил жить под открытым небом, а городскую жизнь терпеть не мог.

В общем, мой отец так и не познал свободы, которой наслаждаются нынешние молодые люди. В каком-то смысле, у него вообще не было детства. Он стал взрослым, так и не успев побыть молодым, потому что ему нужно было работать в лавке и заботиться о младших братьях

и сестрах. А к тому времени, когда ему исполнилось двадцать, пора было выдавать замуж младших сестер, устраивать свадьбы для братьев, платить за их образование...

Я никогда не называл маму «мамой», потому что еще до моего рождения она стала матерью для четверых детей, которые называли ее бхабхи. Это означает «жена брата». Все четверо обращались к ней «бхабхи», и я тоже так ее называл. Ведь я с самого рождения слышал, как четверо детей называют ее «бхабхи».

Но воспитали меня дед и бабушка по матери. Одинокие старики, они очень хотели, чтобы рядом был ребенок, на закате жизни им нужна была радость. Мои родители подумали и согласились. Я был старшим ребенком, первенцем. И они отправили меня к бабушке и деду.

У меня не осталось ранних воспоминаний о жизни с родителями. Детство мое прошло среди стариков — бабушка, дед и их давний слуга, человек замечательный. Эти трое... но разница в возрасте была так велика, что я жил в полном одиночестве. Они не смогли стать мне компанией, да и не могли бы при всем желании. И никого другого рядом не было, потому что в той маленькой деревушке моя семья была самой обеспеченной. А деревня наша была такой крошечной — всего-то человек двести — и такой бедной, что бабушка и дедушка не разрешали мне водить дружбу с сельской детворой. Дети там были грязные — оно и понятно, они ведь были совсем нищие. В общем, завести друзей я просто не мог, и это оказало на меня огромное влияние. За всю жизнь у меня не было настоящих друзей. Приятели, знакомые — да, их было много.

В первые годы жизни я был так одинок, что одиночество начало приносить мне наслаждение. И это действительно наслаждение. Для меня оно не стало проклятьем, позже выяснилось, что это, наоборот, подарок судьбы. И я начал наслаждаться им, я с радостью довольствовался собой, я ни от кого не зависел.

Игры меня никогда не интересовали по той простой причине, что в детстве я никогда не играл — играть было просто не с кем. Как сейчас, вижу себя в том возрасте — я просто сидел. У нас возле дома было чудесное место, прямо на берегу озера. Большое озеро, вода — на долгие мили вдаль... очень красиво, все такое спокойное... Лишь изредка над головой пролетает стая белых журавлей или раздаются редкие крики птиц. В остальные минуты это было практически идеальное место для медитации. И даже если тишину нарушал крик влюбленной птицы... после этого тишина становилась только глубже.

Гладь озера усыпали цветы лотоса, и я мог часами сидеть на берегу, такой самодостаточный, словно в мире нет ничего, кроме лотосов, белых журавлей и тишины...

А бабушка с дедом быстро поняли, что я наслаждаюсь одиночеством. Они видели, что у меня нет никакого желания идти в деревню, с кем-то знакомиться, о чем-то говорить. Я даже с ними говорил очень скупое: да или нет. Разговаривать я тоже не любил. И они заметили это, они понимали, что я наслаждаюсь одиночеством, и старались меня не тревожить, это стало для них священным долгом.

Итак, семь лет напролет никто не пытался нарушить мою невинную жизнь, потому что рядом никого не было. Три старика, что жили со мной в одном доме — бабушка, дед и слуга, — прилагали все силы, чтобы меня никто не потревожил. Честно говоря, когда я стал старше, мне было неловко оттого, что ради меня они даже между собой редко говорили, что они отказались от нормальной жизни. С детьми обычно наоборот бывает, им говорят: «Не шуми! Папа работает, дедушка отдыхает. Не шуми. Сиди тихо». Но у меня все было наоборот. Я не могу сказать, почему и как это получилось. Так уж вышло. Моей заслуги тут нет.

Три старика постоянно подавали друг другу знаки, жестами показывали: «Не мешай, ему ведь так хорошо». Они тоже полюбили мое молчание.

У молчания есть свои вибрации. Оно заразительно — особенно молчание ребенка. Не навязанное молчание, когда ему говорят: «Будешь шуметь — накажу». Такое молчание не создает радостных вибраций, о которых я говорю. Молчание благостно, когда ребенок молчит сам по себе и радуется тишине просто так, без причины. Это беспричинное счастье, и от него во все стороны расходятся мощные круги.

В общем, так уж сложились обстоятельства, что мне целых семь лет никто не мешал — никто от меня ничего не требовал, никто не пытался подготовить к миру бизнеса, политики и дипломатии. Моим старикам хотелось сбереечь мою естественность. Особенно бабушке, она и была главной причиной. Знаете, подобные мелочи сказываются позже на всем отношении к жизни, так что именно бабушка была причиной моего глубокого уважения к женщинам и женственности в целом. Она была женщина простая, неграмотная, но невероятно чувствительная. Она деду и слуге так прямо и говорила: «Тот образ жизни, который мы с вами выбрали, ничего нам не дал. Мы такие же пустые, какими были, а смерть уже близко». «Давайте не будем мешать мальчику, — настаивала она. — Что мы можем ему дать? Мы только и можем, что сделать его похожим на нас, а мы — ничто. Так пусть лучше он останется самим собой».

Мой дед... Я ночами слышал их разговоры. Они думали, что я сплю, и дед говорил: «Ты говоришь, что так лучше, и я с тобой согласен. Но у него есть родители, рано или поздно они его заберут. И что они скажут? Мы не научили его манерам, он настоящий дикарь...»

А бабушка отвечала: «Не волнуйся. В нашем мире все такие цивилизованные, воспитанные — и что проку? Ты вот у нас тоже образованный, и что с того? Что это дает? В худшем случае его родители на нас обидятся. Ну и что? Пусть себе обижаются. Ничего страшного, а малыш к тому времени станет сильным, и они уже не смогут сбить его с толку».

Я невероятно благодарен своей бабушке. Дед часто тревожился, что рано или поздно во всех грехах начнут обвинять его, что ему скажут: «Мы доверили тебе ребенка, а ты ничему его не научил».

Бабушка не хотела даже брать мне частного учителя. В деревне был один такой человек, он мог бы научить хотя бы основам чтения, математики и географии. Он сам закончил всего четыре класса — четыре класса начальной школы, — но считался в селе самым образованным. Мой дед изо всех сил бабушку упрашивал: «Пусть он приходит и учит малыша. Мальчик хотя бы азбуку будет знать и арифметику. Тогда его родители не скажут, что мы потратили семь лет впустую».

Но бабушка говорила: «Вот когда заберут его, пусть делают что хотят. А тут он все семь лет будет самим собой, и мы ему мешать не станем». У нее был один ответ: «Ты ведь умеешь читать, ну и что? Математику знаешь — и что? Денег у тебя от этого не прибавилось. Ты хочешь, чтобы он тоже мало зарабатывал и жил так же, как ты?»

Этого было достаточно, чтобы дед умолкал. А что он мог поделывать? Трудно ему приходилось: спорить он не мог, но прекрасно понимал, что отвечать ему самому придется. Это его мой отец спросит: «Что ты сделал для малыша?» Так бы оно и было, если бы дед не умер.

Впоследствии мой отец заявил как-то: «Это старик виноват, испортил мне мальчишку». Но тогда я уже был сильнее духом и сразу расставил все по местам. Я сказал: «Не смей говорить ни единого плохого слова о дедушке. Он меня спас, он не допустил, чтобы ты меня испортил, — вот почему ты злишься. У тебя есть другие дети, можешь их калечить. Время покажет, кого на самом деле испортили».

Детей ему и вправду хватало, они все рождались и рождались. Я даже подшучивал над отцом: «Тебе еще одного нужно для ровного счета, пусть будет дюжина. Нас ведь одиннадцать! Люди спрашивают: „Сколько у вас детей?“ „Одиннадцать“ как-то не звучит, а вот „Дюжина“ — это впечатляет!» Став еще постарше, я говорил: «Ты детей по-прежнему калечишь. Но я дикарь и останусь дикарем». Мне каким-то чудом удалось ускользнуть от тисков цивилизованности.

Мой дедушка по матери был человек очень щедрый. Он был беден, но богат в своей щедрости. Тем, что у него было, он делился со всеми. У него я научился искусству делать подарки. Я никогда не видел, чтобы дедушка отказал нищему, да и вообще кому бы то ни было.

Я называл дедушку «нана» — так в Индии обращаются к отцу матери. А мать матери называют «нани». Я дедушку спрашивал: «Нана, как ты нашел себе такую красивую жену?» У нее лицо было совсем не индийским, она была больше похожа на гречанку. И еще она была женщина сильная, очень сильная. Мой Нана умер рано, ему не было еще пятидесяти, а бабушка дожила до восьмидесяти, у нее было крепкое здоровье. И, несмотря на ее возраст, никто и не думал, что она скоро умрет. Я ей однажды обещал, что обязательно приеду на похороны. В 70-м году, когда она умерла, я приехал и в последний раз видел свою родню. Я должен был исполнить свое обещание.

В детстве моя Нани была для меня матерью. Это были те самые годы жизни, когда человек растет. Родная мать появилась потом, когда я уже вырос, и у меня выработались определенные взгляды на жизнь. Бабушка мне очень помогла. Дед меня тоже любил, но большого влияния не оказал. Он любил меня так сильно... но приносить пользу намного важнее, для этого нужна особая сила. Дед всегда побаивался бабушку. В каком-то смысле он был у нее под каблуком. Но он любил меня, он тоже мне помогал... что поделаешь, если он действительно был подкаблучником? Таких мужей — девяносто девять и девять десятых процентов, ничего в этом необычного нет.

Вообще-то, я понимаю, что чувствовал мой дедушка, ведь своим озорством я доставлял старику большие неприятности. Он целыми днями сидел на своем гадди — так в Индии называют кресла богатых, — и жалобы выслушивал намного чаще, чем заказы! Но отвечал он обычно так: «Я готов заплатить за любой ущерб, но наказывать мальчика не стану».

Я был большим озорником, но он терпел все... Честно говоря, даже я такого не вытерпел бы. Если бы мне поручили несколько лет воспитывать такого ребенка... Упаси Бог! Да я бы уже через пару минут выгнал его за порог. Возможно, те годы были для моего деда своего рода чудом, потому что терпение всегда вознаграждается. Он сам становился все более молчаливым. Я видел, что с каждым днем он становится все спокойнее. Я однажды даже спросил его: «Дедушка, почему ты меня не наказываешь? Как ты можешь это терпеть?» Вы не поверите, но он заплакал! На его глаза навернулись слезы, и он сказал: «Наказать тебя? Я просто не могу. Себя могу, а тебя — нет».

Я никогда, ни разу не видел в его взгляде даже мимолетной тени раздражения, хотя, поверьте, я вытворял такое, что не под силу даже тысяче детей. Озорничать я начинал рано утром, еще до завтрака, — и так до глубокой ночи. Домой я возвращался очень поздно, порой часа в три ночи, но... Каким же замечательным был мой дед! Он мне ни разу не сказал: «Уже очень поздно. Дети в такое время уже спят». Ни разу! Наоборот, он при этом даже старался не смотреть на часы.

И он ни разу не водил меня в свой храм. Я, правда, туда сам заглядывал, но вечерами, когда служба заканчивалась. Я там воровал пирамидки, там было много подсвечников с чудесными пирамидками. Думаю, я вот так, потихонечку, все до единой оттуда вынес. Когда дедушке сказали об этом, он ответил: «Ну и что? Я сам подарил храму эти подсвечники и, если надо, еще подарю. Он ничего не ворует, потому что это собственность его наны. Этот храм на мои деньги построен». И священник перестал ходить с жалобами. Какой смысл? Он ведь сам был просто слугой моего Наны.

Нана ходил в храм каждое утро, но ни разу не сказал мне: «Пойдем со мной». Он не

пытался внушать мне какие-то взгляды. И это просто здорово — никому ничего не навязывать. Заставить невинного малыша разделять твои собственные убеждения — это ведь так естественно, это в природе человека, но мой дед никогда не поддавался такому искушению. Да, это действительно искушение! Когда ты замечаешь, что кто-то от тебя зависит, ты тут же начинаешь навязывать ему свои взгляды. Но дед ни разу не сказал мне: «Я — джайн и ты — джайн».

Я очень хорошо запомнил один случай. В стране шла перепись населения, и в наш дом явился какой-то чиновник. У него были анкеты, и он задавал много разных вопросов. Помимо прочего, он спросил, какую религию исповедует мой дедушка, и Нана ответил: «Джайнизм». Затем чиновник спросил о религии моей бабушки, а дед сказал: «Пусть она сама ответит. Религия — это личное дело каждого. Лично я никогда ее об этом не спрашивал». Какой был человек!

А бабушка вот что ответила: «Я вообще не религиозна. Мне все эти религии кажутся ребячеством». Чиновник был потрясен. Это даже меня поразило. Она вообще не относилась к какой-то религии! В Индии практически невозможно найти нерелигиозную женщину. Но она родилась в Кхаджурахо, скорее всего в семье тантристов, а они никогда не признавали религий. Они медитировали, но оставались нерелигиозными.

Жителю Запада это может показаться нелогичным: медитация без веры? Да-да... Вообще говоря, исповедуя какую-то религию, ты не сможешь медитировать. Религия будет мешать. Для медитации не нужен Бог, не нужен ни рай, ни ад, ни страх наказания, ни обещания вечной радости. Медитация не имеет ничего общего с разумом, медитация — за его пределами, а любая религия идет от ума, она гнездится в разуме.

Нани никогда не ходила в храм. Но она все-таки научила меня одной мантре. Я, кстати, впервые об этом рассказываю. Это джайнистская мантра, хотя к джайнизму как таковому она никакого отношения не имеет. То, что она связана с джайнизмом, — чистая случайность...

Это очень красивая мантра. Перевести ее будет нелегко, но я постараюсь... не знаю, правда, что получится. Но сначала послушайте ее в ее оригинальной красоте:

Намо арихантанам намо намо
Намо сиддханам намо намо
Намо увадджхайянам намо намо
Намо лойе савва сахунам намо намо
Аэсо панч наммукаро
Савва паваппанасано
Мангалам ча саввесам падхамам хавай мангалам
Апиханте саранам павадджхами
Сиддхе саранам павадджхами
Саху саранам павадджхами
Намо арихантанам намо намо
Намо сиддханам намо намо
Намо увадджхайянам намо намо
Ом шанти, шанти, шанти...

Попробую перевести. «Я склоняюсь к стопам... припадаю к ногам ариханта...» Ариханта — так в джайнизме называют того, кого в буддизме зовут архатом. Это тот, кто достиг окончательной цели, но ни о чем больше не заботится. Он вернулся домой и отвернулся от этого

мира. Он не создает религию, он даже не молится, он ни о чем не говорит. Конечно, таких запоминают прежде всего. Лучше всего запоминают тех, кто знает, но сохраняет безмолвие. Уважают, прежде всего, за молчание, а не за слова. Почитают не за служение другим, а за сам подвиг, за обретение собственного Я. Помогает он другим или нет — это неважно, это вторичное, побочное. Главное, что он обрел собственное Я, ведь в нашем мире так трудно познать себя...

Джайны называют такого человека ариханта — он обрел себя и утонул в себе, он так опьянен великолепием своего прозрения, что забыл обо всем на свете. В буквальном переводе слово ариханта означает «убивший врага», и этот враг — эго. Итак, первая строка мантры означает: «Я касаюсь стоп того, кто обрел себя».

Вторая строка: Намо сиддханам намо намо. Эта мантра, кстати, не на санскрите, а на пракрите. Праkrit — это язык джайнов, он еще древнее санскрита. Само слово санскрит означает «очищенный». Легко понять, что раз он очищенный, должно было быть что-то более раннее, иначе, что именно очищалось? Праkrit означает «неочищенный, природный, сырой», и джайны совершенно правы, когда говорят, что это самый древний в мире язык. Их религия, между прочим, тоже самая древняя. Так вот, эта мантра на пракрите, сыром и неочищенном языке. Вторая строка так переводится: «Я касаюсь стоп того, кто стал своей сущностью». В чем же разница между первыми и вторыми? Ариханта никогда не оглядывается, он не занимается служением — ни в христианском смысле, ни в любом другом. Но сиддха иногда протягивает руку помощи захлебывающемуся человечеству — не всегда, только время от времени. Это не долг и не обязанность, это просто его выбор. Он может помочь, а может не помогать.

Вот третья строка: Намо уадджхайянам намо намо... — «Прикасаюсь к стопам Учителей, уадджхайя». Они достигли того же, но обращены лицом к миру и служат миру. Они одновременно пребывают и в этом мире, и вне него... и все же они здесь.

Четвертая строчка: Намо лойе савва сахунам намо намо — «Я касаюсь стоп учителей». Знаете, в чем разница между Учителем с большой буквы и учителем? Великий Учитель познал и делится тем, что знает. Обычный учитель получил знания от того, кто познал, и передает их миру в неискаженном виде, но сам он еще не познал. Создатели этой мантры были гениальными: они припадали даже к стопам тех, кто не познал себя, но все же несет людям провозвестия от Великих Учителей.

Пятая строка — одна из самых глубоких по содержанию. Я за всю жизнь встречал очень мало таких глубоких строк. Странно, что бабушка передала мне эту мантру, ведь я был тогда совсем маленький. Сейчас я ее переведу, и вы сами ощутите, как красива эта строка. Такое могла подарить мне только бабушка. Не знаю, кому еще хватило бы духу открыто провозглашать эту строчку... хотя все джайны произносят ее в своих храмах. Но одно дело повторять самим и совсем другое — передавать тому, кого ты любишь.

«Я прикасаюсь к стопам всех, кто познал себя»... никаких различий, будь то индуист, джайн, буддист, христианин или мусульманин. В мантре так и говорится: «Прикасаюсь к стопам всех, кто познал себя». Насколько мне известно, это единственная мантра, никак не связанная с какой-то отдельной религией.

Те четыре строки мало чем отличаются от пятой, они повторяют примерно то же самое, но она превосходит их по всеохватности. Пятую строчку следует начертать во всех храмах, во всех церквях, кому бы там ни молились, потому что в ней сказано: «Я прикасаюсь к стопам всех, кто познал истину». Тут не говорится: «... кто познал Бога». Даже слово «истина» можно опустить, я сам добавил его в переводе. В оригинале сказано: «прикасаюсь к стопам всех, кто познал» — никакого упоминания об истине. Я добавил это слово лишь потому, что того требует грамматика вашего языка, ведь иначе можно спросить: «Познал что? Что именно стало объектом познания?»

На самом-то деле нет никакого объекта познания — нечего познавать, есть только познающий.

Вот эта мантра и была единственной религиозной — если, конечно, ее можно назвать чем-то религиозным — доктриной, которую преподала мне бабушка. Именно бабушка, а не дед. Однажды ночью она сказала: «Ты что не спишь? Заснуть не можешь? Строишь планы насчет завтрашних проделок?»

«Нет, — ответил я, — просто думаю кое о чем. У всех есть своя религия, а когда меня спрашивают, во что я верю, я просто пожимаю плечами. Но пожимать плечами — это ведь ничего не значит. Вот я и хочу спросить, как мне следует отвечать?»

И она сказала: «Лично я не верю ни в какую религию, но я знаю одну мантру, и это единственное, чему я могу тебя научить, — и совсем не потому, что она считается джайнской. Я люблю эту мантру за ее красоту. Я повторяла ее миллионы раз, и эта мантра всегда приносила мне поразительный покой... я сама чувствовала, будто припадаю к стопам всех, кто познал. Я могу научить тебя только этой мантре, больше ничему».

Теперь я могу утверждать, что она была великой женщиной, ведь когда дело касается религии, все вокруг начинают лгать. Христиане, иудеи, джайны, мусульмане... Лгут все. Они говорят про Бога, про рай, ад, ангелов и все такое прочее, хотя на самом деле ничего не знают. Но моя бабушка была великой женщиной — она тоже ничего не знала, но не могла лгать ребенку.

Никто не должен лгать — особенно ребенку, вот это вообще простить нельзя. Взрослые веками пользовались доверчивостью детей, ведь дети верят всему. Их очень легко обманывать, они всегда всему верят. Если папа или мама что-то говорит, ребенок не станет сомневаться, потому что мама и папа всегда правы. Именно поэтому все человечество испорчено, оно живет по колено в липкой и грязной лжи, которую столетиями внушают детям. Но если все мы перестанем врать детям и сознаемся им в собственном невежестве — а это ведь так просто! — вот тогда мы станем по-настоящему религиозными и им укажем путь к религии. Дети совершенно невинны. Не нужно подсовывать им свои так называемые знания. Прежде мы сами должны стать невинными, правдивыми, настоящими.

Джайнизм — самая аскетичная религия на свете. Иными словами, это самая мазохистская и садистская религия. Монахи так себя мучают, что остается лишь удивляться, как они с ума не сходят! Но они каким-то чудом умудряются избегать безумия. Они, кстати, торговцы, и все последователи монахов-джайнов — тоже торговцы. Это кажется странным — все члены джайнских общин занимаются торговлей, но на самом деле все не так уж странно, потому что сама эта религия нацелена, прежде всего, на выгоду в ином мире. Джайны терзают себя, чтобы взамен получить в ином мире то, чего в этом никогда не получишь.

Мне было лет пять, когда я впервые увидел голого монаха-джайна, которого пригласили в дом моей бабушки. Я не мог удержаться от смеха. Дед мне сказал: «Потише! Я знаю, что ты озорник. Я еще могу простить, когда ты соседям пакостишь, но не прощу, если ты обидишь моего гуру. Это мой учитель, он посвятил меня во внутренние тайны религии».

«Какие еще внутренние тайны? — сказал я. — Меня интересуют внешние тайны, а он не стесняется выставлять их напоказ. Почему он голый? Трудно было хотя бы трусы надеть?»

Тут мой дед сам рассмеялся. Он сказал: «Ты просто ничего не понимаешь».

«Ладно, — сказал я. — Тогда я его самого спрошу».

Все жители деревни собрались на даршан, который проводил тот монах. И в самый разгар этой так называемой проповеди я встал и задал вопрос. Это было больше сорока лет назад, и с тех пор мне постоянно приходится воевать со всякими идиотами. Война началась в тот самый день, а закончится, боюсь, только когда меня уже тут не будет. А может быть, и вообще не

закончится, ее продолжат мои ученики.

Я задавал очень простые вопросы, но он не мог на них ответить. Это меня озадачило. Дед был очень смущен, а бабушка потрепала меня по голове и сказала: «Молодчина! Я знала, что ты молодец».

О чем же я спрашивал? Вопросы были очень простые. Я спросил, например: «Почему вы не хотите родиться еще раз?» Для джайна это вполне естественный вопрос, потому что джайнизм именно это собой и представляет — попытку больше не переродиться. Это целая наука о том, как остановить круг перерождений. Так что я задал ему совершенно простой и естественный вопрос: «Неужели вы не хотите родиться еще раз?»

«Нет, ни в коем случае», — ответил он.

Тогда я спросил: «А почему вы не покончите с собой? Зачем вы еще живете? Зачем пьете воду? Можно ведь все это прекратить, просто покончить с собой. Зачем так мучиться, дело ведь пустячное». А ему было на вид не больше сорока лет... Я ему так и сказал: «Если будете тянуть, рискуете прожить еще лет сорок, а то и больше». Это ведь научный факт: кто мало ест, живет долго...

В общем, я тогда подобных фактов не знал, но спросил монаха: «Если вы не хотите родиться снова, то зачем продолжаете жить? Почему не покончите с собой?» Сомневаюсь, что его когда-нибудь о таком спрашивали. В нашем вежливом обществе никто не задает по-настоящему важных вопросов, а вопрос о самоубийстве... что может быть серьезнее?

Марсель говорит, что самоубийство — единственный настоящий философский вопрос. Но я тогда и не знал, кто такой Марсель. Возможно, ни его самого, ни его книг тогда еще не было. Но именно об этом я спросил монаха: «Если вы не хотите переродиться — а вы сами говорите, что не хотите, — то зачем живете? Ради чего! Убейте себя! Если надо, я вам кучу способов расскажу. Я еще мало знаю о жизни, но в том, что касается самоубийства, готов помочь советом. Вы можете, например, спрыгнуть со скалы на окраине нашей деревни, можете в реке утонуть...»

Я тому монаху сказал: «В сезон дождей мы можем вместе искупаться в реке. Поплаваем немного, а потом вы можете спокойненько тонуть, а я поплыву себе на тот берег. Я хорошо плаваю».

Он смотрел на меня с такой злобой, с такой ненавистью, что мне пришлось добавить: «Помните, если будете злиться, то родитесь снова. От мира страданий не так нужно избавляться. Почему у вас такой сердитый взгляд? Вы ведь можете ответить на мой вопрос без злости, тихо и спокойно. Радостно! Если не можете ответить, просто скажите, что не можете, но зачем же сердиться?»

Монах сказал: «Самоубийство — это грех. Я не могу покончить с собой. Но я действительно не хочу больше родиться в этом мире. И я достигну этого состояния, постепенно отказываясь от всего, что у меня есть».

Тогда я сказал: «Пожалуйста, покажите мне хоть что-то из того, что у вас есть. Знаете, я вот смотрю на вас — вы голый и в руках у вас ничего. Что же у вас есть?»

Дед пытался меня остановить, но я показал на бабушку и сказал ему: «Не забывай, Нани мне разрешила, и никто мне не запретит, даже ты. Я у нее заранее спросил разрешения, я боялся, что, если прерву твоего гуру и его дурацкую проповедь, ты на меня разозлишься». А бабушка сказала: «если что, скажи — я разрешила. Ничего не бойся, просто покажи на меня, и дедушка замолчит». Знаете, после этого он, как ни странно, действительно замолчал, хотя даже не посмотрел в сторону Нани!

Позже мы с Нани ужасно долго смеялись. Я ей сказал, что дедушка даже не стал проверять, правда ли, что она мне все это разрешила. А бабушка ответила: «Знаешь почему? Он боялся, что я скажу ему: „Замолчи и не мешай ребенку!“ Он просто решил не связываться со мной и не стал

тебя перебивать».

Вообще-то дед закрыл глаза, как будто медитировал. И я ему сказал: «Нана, ты молодец! Ты злишься, ты весь кипишь, и все равно сидишь с закрытыми глазами, словно просто медитируешь. Твой гуру злится на меня, потому что мои вопросы его бесят, а ты злишься, потому что он не может на них ответить. Но, поверь мне, этот тип, который тут проповеди читает, — просто придурок». А мне было тогда всего пять лет!

С тех пор я и начал называть все своими именами. Я идиотов сразу замечаю, как бы они ни маскировались. У меня взгляд — что твой рентген, никто не ускользнет.

Я позабыл имя того монаха... Кажется, его звали Шанти Сагар — «Океан Покоя». Надо сказать, имя на редкость неподходящее, потому я его и позабыл. Честно говоря, это была какая-то грязная лужица, а не океан. И спокойным человеком его тоже нельзя было назвать, так он умел злиться.

Слово «шанти» очень многозначное. Два основных значения: «покой» и «тишина», но тот монах не был ни спокойным, ни тихим. Ни того, ни другого в нем не было ни капли. Безмятежным его тоже нельзя было назвать, ведь он так взбесился, что наорал на меня и велел заткнуться.

А я сказал: «В моем доме никто не заставит меня замолчать. Это я могу заставить вас уйти, но вы не имеете права мне приказывать. Однако я не стану вас прогонять, потому что у меня есть еще вопросы. Прошу вас, не сердитесь. Помните, что вас зовут Шанти Сагар, Океан Покоя и Тишины. Постарайтесь стать похожим хотя бы на крошечный пруд. Разве можно так волноваться, когда говоришь с ребенком?»

Меня мало интересовало, спокоен он или нет, и я тут же обратился к бабушке, которая к тому времени просто каталась от смеха. Я спросил ее: «Что скажешь, Нани? Спросить его еще о чем-нибудь или просто выгнать?»

Деда я, конечно, не мог спросить, потому что это был его гуру. И бабушка ответила: «Спрашивай, о чем хочешь, а если он не сможет ответить — вон дверь, она открыта».

Я обожал эту женщину. Именно она сделала из меня бунтаря. Даже дед был потрясен тем, что она поддержала меня в те минуты. А так называемый Шанти замолчал как рыба, стоило ему понять, что бабушка на моей стороне. И не только она — к тому времени на моей стороне была уже вся деревня. Бедный монах остался в полном одиночестве.

Я задал ему еще пару вопросов. Я сказал: «Вы вот говорили, что нельзя верить тому, в чем не убедился на личном опыте. Мне кажется, это очень правильно, но у меня есть вопрос...»

Знаете, джайны верят, что есть семь кругов ада. С шестого круга еще можно вернуться, но если ты попал в седьмой, то останешься там навсегда. Возможно, это христианский ад, потому что с ним та же история — стоит там оказаться, и тебе уже никогда не вырваться. И я сказал: «Вы говорили про семь кругов ада, и у меня такой вопрос возник: вы были на седьмом круге? Если да, то как смогли вернуться сюда? Если же нет, то на каком основании утверждаете, будто он существует? Вы можете говорить, что есть только шесть кругов, а не семь. Прошу вас, будьте поточнее в своих проповедях: можете рассказывать о шести кругах, но если настаиваете на существовании седьмого, то должны доказать, что, по меньшей мере, один человек — по имени Шанти Сагар — оттуда вернулся».

Он был огорошен. Он не мог поверить, что такой вопрос задал ему ребенок. Честно говоря, сейчас мне тоже трудно в это поверить! Неужели я задал такой вопрос? У меня есть только одно объяснение: я был неграмотен и не знал совершенно ничего. Знания делают людей хитрыми, но я был простодушен. Я просто задал тот вопрос, какой возник бы у любого неграмотного ребенка. Образование — величайшее преступление, какое совершают против несчастных детей.

Вероятно, окончательным освобождением мира станет освобождение малышей.

Я был простодушен и не обладал никакими познаниями. Я не умел ни читать, ни писать, даже считал только на пальцах. Я и сейчас, если пропущу палец, когда что-то подсчитываю, тут же сбиваюсь. Но монах не мог ответить на мой вопрос. Тогда моя бабушка поднялась и сказала: «Ты должен ответить. Не думай, что об этом спрашивает только малыш. Мне тоже интересно, а я — хозяйка этого дома».

Мне опять нужно пояснить тонкости джайнских обычаев. Когда монах-джайн приходит в чей-то дом и его там угощают, он после трапезы благословляет всю семью своей проповедью. Считается, что проповедь обращена к хозяйке дома. Потому моя бабушка и сказала: «Я здесь хозяйка, и я присоединяюсь к этому вопросу. Ты сам был в седьмом круге ада? Если нет, признайся, что не был, но тогда ты не имеешь права утверждать, что существует именно семь кругов».

Монах был настолько ошеломлен и сбит с толку — особенно после этого вызова, который бросила ему эта удивительная женщина, — что двинулся к дверям. Но моя Нани воскликнула: «Стой! Ты куда? А кто ответит на вопрос моего внука? Кстати, у него есть и другие вопросы. Что ты за человек? Как не стыдно увиливать от вопросов ребенка?»

Монах застыл на месте, а я продолжал: «Забудем про этот вопрос, он ведь явно не в силах на него ответить. Он и на первый мой вопрос не ответил, но я задам третий — возможно, ему хоть тут повезет».

Он уставился на меня, и я сказал: «Если вам так нравится меня рассматривать, смотрите мне прямо в глаза». Наступила полная тишина, никто ни слова не промолвил. Монах опустил глаза, а я сказал: «Я не буду задавать третий вопрос. Первые два остались без ответа, а третий я не буду задавать, мне не хочется позорить нашего гостя. Я ухожу». Я действительно вышел и был ужасно рад, что бабушка вышла вслед за мной.

Дед остался, чтобы проститься с монахом, и, едва тот вышел за порог, вбежал в дом и спросил бабушку: «Ты с ума сошла? Сперва ты вступилась за этого мальчишку, от которого с самого рождения одни неприятности, а потом вышла, даже не попрощавшись с моим Учителем!»

Бабушка ответила: «Это не мой Учитель, так что мне все равно. А тот, кого ты считаешь источником неприятностей, — это семя, и никто не знает, что из него вырастет».

Теперь-то я знаю, что выросло из того семени. Тому, кто не нарушает спокойствия, никогда не стать буддой. Но я не тот будда, каким был Гаутама. Это было бы слишком традиционно. Я будда Зорба. Я — слияние Востока и Запада. Вообще-то, я не разделяю мир на Восток и Запад, высшее и низшее, мужское и женское, хорошее и плохое, Божественное и дьявольское. Нет, тысячу раз нет! Я не различаю всего этого. Напротив, я объединяю то, что прежде разделялось. Вот в чем моя работа.

Тот день невероятно важен для понимания всей моей последующей жизни, ведь, не познав семени, невозможно постичь дерево, его плоды и даже виднеющуюся сквозь ветви луну.

С того самого дня я восстал против всего, что отдает мазохизмом. Конечно, само это слово я узнал намного позже, но дело не в названиях. Я был против любого аскетизма, хотя в те годы не знал, что это называется именно так. Но мне достаточно было почуять неприятный душок. Знаете, у меня настоящая аллергия на любые самоистязания. Я хочу, чтобы все люди жили полнокровной жизнью. Довольствоваться малым — это не для меня. Живите во всю мощь, а если удастся подняться выше максимума, это вообще фантастика! Давайте! Чего ждать? Не стоит тратить время в ожидании рая...

... Кстати, я совсем не против самоубийства. Если кому-то хочется покончить с собой, ему, конечно, нельзя помешать. Но я определенно против того, чтобы превращать самоубийство в

долгую пытку. Перед смертью тот человек, Шанти Сагар, сто десять дней ничего не ел. Обычный здоровый человек вполне может прожить без еды девятьюстами днями, а очень крепкий — и того больше.

Итак, запомните, по отношению к тому монаху я вел себя совсем не грубо. В том контексте мой вопрос был совершенно правильным — тем более что монах не смог на него ответить. Знаете, как ни странно, с этого случая я не только начал задавать свои вопросы. С того самого дня мне еще и перестали давать ответы. Я встречал так называемых духовных людей, но ни один из них не мог ответить на мои вопросы. В каком-то смысле тот день определил всю мою жизнь, ее особую изюминку.

Шанти Сагар ушел из нашего дома расщепленным, но я был счастлив и не скрывал этого от деда. Я сказал ему: «Нана, пусть он рассердился, но я считаю, что поступил правильно. Твой гуру — серая личность. Ты должен выбрать себе более достойного учителя».

Дед не смог удержаться от смеха. Он сказал: «Возможно, ты прав, но в моем возрасте менять гуру не очень практично». И спросил у бабушки: «Правильно я говорю?»

Но бабушка оставалась верной себе и ответила: «Никогда не поздно что-то менять. Если видишь, что ошибся в выборе, сделай другой выбор. Только поторопись, потому что ты действительно стареешь. Не нужно говорить: „Я стар и мне трудно что-то менять“. Это молодой может позволить себе ждать, а старик — нет, можно опоздать».

Дедушка умер лишь несколько лет спустя, но так и не решился найти нового гуру. Все шло как прежде. Бабушка подтрунивала над ним, она говорила: «Так, когда ты собираешься сменить гуру и свои взгляды?»

А он отвечал: «Скоро, уже скоро».

В один прекрасный день бабушка сказала: «Перестань нести чушь! Если не меняешься прямо сейчас, то никогда не изменишься. Не нужно бесконечных обещаний. Ты либо меняешься, либо нет, но будь честен».

Моя бабушка могла бы стать невероятно влиятельным человеком. Роль домохозяйки была явно не для нее. Она не должна была жить в той крохотной деревушке. Она могла бы оставить след в мировой истории. Возможно, я — лишь ее продолжение. Может быть, она просто переродилась во мне. Она так сильно меня любила, что была мне роднее матери. Я всегда считал Нани своей родной мамой.

Когда мне приходилось сознаваться в каком-то дурном поступке, я шел только к ней и ни к кому другому. Я доверял ей полностью. Ей можно было рассказать о чем угодно. Я очень быстро понял, что она умеет понимать других.

... Мне кажется, что в тот день, когда я задавал джайнскому монаху странные, раздражающие, неприятные вопросы, я не делал ничего дурного. Вполне возможно, что я, наоборот, чем-то ему помог. Может быть, потом он все-таки что-то понял. Если бы ему хватило смелости, он понял бы что-то сразу же, но он оказался трусом и просто сбежал. И это отпечаталось в моей памяти: все так называемые махатмы и святые — просто трусы. Я ни разу не встречал махатму — индуистского, исламского, христианского или буддийского, про которого можно было бы сказать, что он по-настоящему мятежный дух. Но если в тебе не живет бунтарь, ты не религиозен. Мятеж — вот подлинная основа любой религии.

Нана был для меня не просто дедушкой, отцом матери. Мне очень трудно объяснить, кем он для меня был. Он называл меня Раджа — это означает «царь». Больше того, ему удалось устроить все так, что первые семь лет своей жизни я действительно жил по-царски. Ко дню рождения он обычно доставлял из соседнего городка слона... В те дни в Индии слоны были только у двух сословий — у царей и святых, потому что содержание слона, корм и уход стоили

очень дорого. Святые могли себе это позволить, так как у них было множество последователей, которые ухаживали не только за самим святым, но и за его слонем. Неподалеку жил святой, у которого был слон. Дедушка договаривался, чтобы этого слона приводили к нам на мой день рождения. Нана усаживал меня сверху, а по бокам слона вешал два мешка с серебряными монетами...

Когда я был маленьким, в Индии еще не было бумажных денег. В ходу были серебряные рупии. Дед набивал ими два огромных мешка, закреплял их на боках слона, и я катался по деревне, разбрасывая монеты во все стороны. Вот так праздновали мои дни рождения. Я ехал впереди, а за мной катил дедушка в запряженной буйволами телеге. В телеге лежали мешки с деньгами про запас, а дед кричал мне: «Не жадничай, у меня тут хватит. Бросай, не жалея!»

Он всеми силами внушал мне мысль, будто я царского рода.

Знаете, в разлуке есть своя поэзия, нужно только познать ее язык и пережить расставание до самых глубин. Тогда в печали зарождается какое-то совершенно новое счастье... кажется невероятным, но это так. Я понял это, когда умер мой Нана. Это была окончательная разлука. Я знал, что мы никогда больше не увидимся, но в этом была своя красота. Он был стар, он болел и умер — скорее всего, от сердечного приступа. Мы так и не узнали от чего, ведь в деревне не было врача, не было ни аптеки, ни лекарств, и потому мы не знали, от чего он умер, но я думаю, это был сердечный приступ.

Я наклонился к его уху и спросил: «Нана, что ты скажешь мне на прощанье? Каким будет твое последнее слово? Дай мне что-то, чтобы я всегда о тебе помнил». Он снял с пальца кольцо и вложил мне в ладонь. Сейчас то кольцо у кого-то из моих санньясинов^[1], я его кому-то подарил. Это было очень загадочное кольцо. Дед всю жизнь носил его на пальце и никому не позволял его рассматривать, хотя сам частенько в него заглядывал. Кольцо было с боковыми стеклышками, чтобы можно было заглянуть внутрь. Наверху был бриллиант, а по бокам — прозрачные стеклышки.

Он никому не позволял туда смотреть, даже не говорил, что именно он там разглядывает. Внутри была статуэтка Махавиры, джайнского тиртханкары, — совсем крошечная, но удивительно прекрасная фигурка. Стеклышки по бокам оказались увеличительными. Глядя сквозь них, ты видел огромную статую.

Со слезами на глазах мой дедушка сказал: «Мне нечего тебе больше дать, потому что когда-нибудь ты, как и я сейчас, все утратишь. Я могу оставить тебе только мою любовь к тому, кто познал себя».

Я не сберег его кольцо, но исполнил это желание. Я познал себя... я познал себя сам. Что проку в кольце? Но мой бедный дедушка любил своего Учителя, Махавиру, и передал мне свою любовь. Я с огромным почтением отношусь к его любви к Учителю и ко мне самому. Его последними словами было: «Не беспокойся, я ведь не умираю...»

Мы ждали продолжения, он словно хотел сказать что-то еще, но это были последние слова. Глаза его сомкнулись и больше не открылись.

Я хорошо помню, как тихо стало вокруг. Где-то вдалеке, по берегу реки катила запряженная буйволами телега. Я отчетливо запомнил каждую мелочь. Я молчал, мне не хотелось тревожить бабушку. Она тоже молчала. Так прошло несколько минут, и я начал немного волноваться за нее. Я попросил: «Скажи что-то, не молчи, эта тишина нестерпима».

Вы не поверите, но она запела! Так я и узнал, что смерть тоже можно праздновать. Она запела ту песню, какую пела, когда влюбилась в моего дедушку.

Это тоже очень примечательно: девяносто лет назад, в Индии, она осмелилась влюбиться. Она вышла замуж только в двадцать четыре года. Это большая редкость. Я однажды спросил ее,

как ей удалось так долго не выходить замуж, она ведь была настоящей красавицей... Я в шутку сказал, что в нее мог бы влюбиться даже царь Чхаттерпура — страны, куда входила Кхаджурахо.

А бабушка ответила: «Странно, что ты это сказал, потому что так и было. Но я отказала ему, и не только ему, но и многим другим». В те времена индийских девушек выдавали замуж в девять, даже в семь лет. Это страх любви... если девушка станет старше, она может в кого-то влюбиться. Но отец моей бабушки был поэтом. Его песни до сих пор поют в Кхаджурахо и окрестностях. Он заявил, что выдаст ее замуж только по обоюдному согласию. И судьба устроила так, что она влюбилась в моего деда.

Я спросил ее «Это так странно! Ты отказала царю Чхаттерпура и вышла замуж за бедняка. Почему? Разве он был писанным красавцем? Чем он вообще выделялся среди других? Почему ты в него влюбилась?»

Бабушка ответила: «Это плохой вопрос. Влюбляются не „почему-то“. Я просто увидела его — и все. Я увидела его глаза, и в душе появилась вера, которая ни разу не пошатнулась».

Тогда я пошел к деду. Я сказал ему: «Нани говорит, что влюбилась в тебя. Я это понимаю, но почему ты решил на ней жениться?»

Он ответил: «Я не поэт и не мыслитель, но умею видеть красоту».

Я не встречал женщины прекраснее моей Нани. Я сам был влюблен в нее, я любил ее всю жизнь. Когда она умерла, я поспешил домой и увидел ее лежащей на постели, мертвой. Все ждали меня, — она велела не укладывать тело на погребальный костер, пока я не появлюсь. Она хотела, чтобы именно я зажег огонь, и потому все ждали меня. Я вошел, поднял простыню, прикрывавшую ее лицо... она была такая красивая! Прекраснее, чем когда-либо, потому что ее лицо было в полном покое, его неподвижность не нарушали ни дыхание, ни шевеление жизни. Ее красота стала неземной.

Предать ее тело огню — вот одно из самых тяжелых испытаний, какие мне довелось пережить. Я чувствовал себя так, будто сжигаю прекрасное полотно Леонардо или Ван Гога. Конечно, бабушка была для меня важнее Моны Лизы и прекраснее Клеопатры. Это не преувеличение. Я связывал с ней любую красоту, какую видел вокруг. Она всеми силами помогала мне стать самим собой. Без ее помощи я мог быть сейчас лавочником, врачом или инженером... когда я сдавал вступительные экзамены, мой отец был так беден, что ему было очень трудно послать меня в университет. Но ради этого он готов был одалживать любые суммы. Ему очень хотелось, чтобы я учился в университете. Я тоже хотел учиться, но только не в медицинском и не в техническом. Я просто отказывался быть врачом или инженером. Я сказал отцу: «Я тебе правду скажу: я хочу стать странствующим санньясином».

«Кем? Бродягой?!» — воскликнул он.

«Да, — сказал я. — Я хочу поступить в университет, изучить философию и стать странствующим философом».

Отец категорически отказался. Он заявил: «В таком случае я не стану ни у кого занимать деньги, все равно это толку не даст».

А бабушка сказала: «Не волнуйся, сынок. Поступай так, как знаешь. Я, слава богу, еще жива, и я готова продать все, что у меня есть, лишь бы ты мог оставаться самим собой. Я даже не стану спрашивать, куда ты собираешься поступать, и чему там будут учить».

Она действительно ни разу об этом не спросила. Она постоянно высылала мне деньги, даже потом, когда я уже стал профессором. Мне пришлось убеждать ее, что теперь я и сам достаточно зарабатываю, теперь я должен помогать ей деньгами.

А она ответила: «За меня не волнуйся. Мне деньги ни к чему, а ты найдешь им достойное применение».

Все вокруг удивлялись, откуда у меня деньги на книги, я их кучами покупал. Я еще в

старших классах учился, а дома у меня уже было несколько тысяч томов. Весь дом был завален книгами, потому-то все вокруг и гадали, где я беру деньги. Но бабушка меня предупреждала: «Ты никому не говори, что я тебе деньги высылаю. Если твои родители проведают, они тоже начнут у меня просить, а я не смогу им отказать».

И она давала деньги только мне. Даже в тот месяц, когда она умерла, я, как обычно, получил от нее денежный перевод. Она отправила его утром в день своей смерти. И знаете, что самое странное? Она отправила мне все, что оставалось на ее счете в банке, будто знала, что завтра не наступит...

Мне в жизни часто улыбалась удача, но больше всего повезло в том, что у меня были такие бабушка и дед... благодаря ним у меня было золотое детство.

Мятежный дух

Сколько помню себя, я любил только одну игру — спор. Я спорил обо всем. И лишь очень редкие взрослые могли мне достойно противостоять — о понимании, конечно, и речи не было.

Учеба в школе меня никогда не интересовала. Это было ужасное место. В конце концов, меня все-таки заставили туда ходить, но я противился, что было сил, потому что тамошних детей совершенно не волновало то, что волновало меня, а меня не занимало то, что интересовало их. Я был там лишним, посторонним.

А интересовало меня по-прежнему только одно: поиск окончательной истины, смысла жизни. Я хотел понять, почему я — это я, а не кто-то другой. И я решил, что, пока не найду ответа, не успокоюсь и не дам покоя никому вокруг.

Смерть деда стала для меня первым знакомством со смертью. И не просто знакомством, но и чем-то большим. Это было не просто столкновение, иначе я упустил бы ее подлинный смысл. Я увидел и смерть, и нечто большее, неумиряющее, что парило над телом и отдалялось от него... чистые стихии. Это столкновение определило весь дальнейший ход моей жизни. Оно показало мне прежде неведомое направление или, точнее, целое измерение.

Я и раньше слышал о смерти, но это были только рассказы, я не видел ее своими глазами, а если бы и увидел, это, вряд ли приобрело бы для меня большое значение. Ты ничего не знаешь о смерти, пока не умирает любимый человек. Я хочу подчеркнуть это:

Настоящее знакомство со смертью происходит, когда уходит тот, кого любишь.

Когда любовь сливается со смертью, происходят огромные перемены, невероятное преобразование, словно рождаешься заново. И тебе никогда уже не стать прежним. Но люди не умеют любить и потому не способны воспринимать смерть так, как ощутил ее я. Без любви смерть не дает ключиков к тайнам бытия, но если ты по-настоящему любишь, она открывает перед тобой путь ко всем секретам.

Первая встреча со смертью была для меня очень трудной. Во многих отношениях. Умирал человек, которого я очень любил. Я считал этого человека своим подлинным отцом. Он вырастил меня в атмосфере полной свободы — без границ, запретов и приказов...

Любовь и свобода! Если они есть, ты — настоящий царь. Это подлинное царство Божие: любовь и свобода. Любовь — это уходящие в землю корни, а свобода — крылья, чтобы парить в небесах.

Дедушка дал мне и то, и другое. Он подарил мне такую любовь... Он никого не любил так сильно — ни мою маму, ни даже мою бабушку. Еще он дал мне свободу, а это величайший дар. Умирая, он подарил мне кольцо и со слезами на глазах сказал: «Мне больше нечего тебе дать».

«Нана, ты уже дал мне самое дорогое», — ответил я.

Он открыл глаза и спросил: «Что?»

Я улыбнулся и сказал: «Неужели ты забыл? Ты подарил мне любовь и свободу. Думаю, на свете еще не было такого свободного ребенка, как я. Чего еще желать? Ты не мог бы дать ничего большего. И я очень тебе благодарен. Теперь ты можешь уснуть спокойно».

Эта моя первая встреча со смертью была прекрасной. Мне, в отличие от большинства детей, смерть не показалась чем-то уродливым. К счастью, я мог часами сидеть рядом с умирающим дедушкой, а угасал он очень медленно. Шаг за шагом — я даже ощущал, как надвигается смерть, я слышал ее величественное безмолвие.

Повезло мне и в том, что рядом была Нани. Не будь рядом ее, я, скорее всего, не заметил бы красоты смерти, потому что любовь и смерть так похожи... возможно, это вообще одно и то же. Она любила меня. Я купался в потоках ее любви, но тут же, рядом, медленно надвигалась смерть. Та тележка с буйволами... Я до сих пор слышу эти звуки: грохот колес по камням, крики возницы, свист хлыста... Я все это и сейчас слышу. Эти звуки так крепко отпечатались в моей памяти, что, мне кажется, не сотрутся и после моей смерти. Думаю, даже после смерти я буду слышать скрип той телеги.

Нани держала меня за руку, а я просто оцепенел, я не знал, что происходит, хотя прекрасно понимал, что сейчас происходит нечто важное. Голова дедушки покоилась на моих коленях, руками я касался его груди и ощущал, как медленно, очень медленно исчезает дыхание. Когда его грудь стала совсем неподвижной, я сказал бабушке: «Нани, мне кажется, он уже не дышит».

Она ответила: «Все в порядке, не бойся. Он прожил хорошую жизнь, лучшего и желать нельзя». А еще она сказала: «Запомни, потому что такие мгновения не забываются. Никогда не проси лучшего. Хватает и того, что есть».

Первые семь лет — самые важные в жизни. Таких благоприятных возможностей не бывает уже никогда. В эти семь лет решается, какими станут остальные семьдесят. В этом возрасте закладываются все краеугольные камни. Итак, по странному стечению обстоятельств, судьба уберегла меня от родителей, а к тому времени, когда я к ним вернулся, я был уже почти самостоятельным — и уже научился летать. Я знал, что у меня есть крылья. Я понимал, что для того, чтобы взлететь, мне уже не нужна ничья помощь. Я знал, что все небо — мое.

Я никогда не просил у родителей совета, а когда они мне что-то советовали, я неизменно возражал. Я говорил: «Это оскорбительно! Неужели вы считаете, что я сам не справлюсь? Я понимаю, что вы даете советы из лучших побуждений — и я благодарен за это, — но вы не понимаете одного: я могу справиться сам. Дайте мне возможность проявить себя. Не мешайте».

За те семь лет я стал настоящим закоренелым индивидуалистом. Меня уже невозможно было связать по рукам и ногам.

Лавка моего отца находилась на первом этаже дома нашей семьи. В Индии так обычно и устроено: дом и магазин вместе, чтобы легче было заниматься делами. Направляясь домой, я обычно проходил через лавку, закрыв глаза, — а идти там было всего-то метра четыре.

Отец как-то сказал мне: «Я вот что заметил: ты, когда идешь через лавку в дом или из дома, вечно закрываешь глаза. Это что, обряд какой-то?»

«Что-то в этом роде, — ответил я. — Я просто не хочу, чтобы эта лавка погубила меня так же, как тебя. Я ее видеть не хочу, мне тут неинтересно, совершенно неинтересно». А это была одна из лучших суконных лавок в городе. Там продавали самые красивые ткани, но я никогда не смотрел по сторонам, просто зажмурился и шел дальше.

Отец сказал: «Если даже откроешь глаза, это тебе ничуть не повредит».

«Кто его знает, — ответил я. — Все это отвлекает, а я не хочу отвлекаться».

Я был старшим сыном, и отец, естественно, хотел видеть во мне помощника. Он мечтал, чтобы после университета я вернулся и взял дела на себя. Он-то и сам неплохо справлялся: небольшая лавочка постепенно превратилась в солидный магазин. Отец говорил: «Кому я все это оставлю, как не тебе? Я ведь тоже старею. Неужели ты думаешь, что я вечно буду стоять за прилавком?»

Я сказал: «Нет, не думаю, но ты ведь можешь просто уйти на покой. У тебя есть младшие братья, они с удовольствием займутся магазином. Он их очень даже интересуется, и они боятся, что ты передашь дела мне. Я им уже говорил, чтобы не опасались меня, что я им не соперник. Отдай лавку своим младшим братьям».

Но в Индии такая традиция: старший сын наследует всё. Мой отец был старшим у своих родителей и унаследовал эту лавку от отца. А я, само собой, должен был унаследовать все, что теперь было у него. Естественно, он очень тревожился... но выхода не было. Он все перепробовал, пытаясь хоть как-то меня уговорить, вызвать интерес к делам.

Он мне, бывало, говорил: «Ты, даже если станешь врачом, и за месяц не заработаешь столько, сколько я за день зарабатываю. Или, например, инженером — и какой оклад у тебя будет? Даже если станешь профессором. Да я и профессора продавцом могу нанять, он сюда охотно пойдет. Знаешь, их кругом тысячи, этих выпускников, аспирантов, докторов, — и все безработные».

Сначала он пытался убедить меня забросить мысли насчет университета. Он очень боялся, что я на целых шесть лет стану совершенно свободным и жить буду где-то далеко от дома. Он

ведь тогда не сможет за мной присматривать. Он уже тогда жалел, что меня на целых семь лет отправили к родителям матери. Я ему говорил: «Ты не бойся. То, чего ты боишься, уже случилось: я и так прошел большую школу! Те семь лет у бабушки с дедушкой... Знаешь, университет меня не испортит, потому что я и так уже испорчен. Ты ничего не можешь поделать. Все эти средства убеждения — оклад, уважение, деньги... Для меня это ерунда. Кстати, можешь не волноваться, я не стану ни врачом, ни инженером. Я хочу всю жизнь быть бродягой».

«Час от часу не легче! — воскликнул он. — Если бы ты хотел стать врачом или инженером, я бы еще понял, но почему бродягой? Разве это профессия? У тебя хватает мозгов обо всем этом рассуждать, так почему тебе взбрело в голову стать бродягой?! Даже сами бродяги обижаются, когда их так называют, а ты родному отцу заявляешь, что всю жизнь хочешь быть бродягой!»

«Так и будет», — подтвердил я.

Поразмыслив, он решил зайти с другого конца: «Зачем тогда тебе университет?»

"Чтобы стать образованным бродягой, — пояснил я, — а не бродягой по принуждению. Я вообще не хочу делать что-то по принуждению. Я стану бродягой не потому, что не могу стать кем-то другим. Это не по мне. Сначала я хочу доказать всему миру, что могу стать кем угодно, но все равно предпочитаю быть бродягой — потому что доказал свою силу. Сильного уважают, даже если он бродяга, ведь уважение никак не связано со всеми твоими профессиями и окладами. Уважают того, кто обладает силой, трезвостью и умом.

Пойми правильно: я хочу учиться в университете не для того, чтобы потом найти хорошую работу. Я был рожден не для таких глупостей, пусть другие ими занимаются. А образованный, умный, развитый бродяга — вот кого нам не хватает, потому что таких просто нет. Нищих-то полно, но все они — люди третьего сорта, это просто неудачники. Я хочу сначала добиться настоящего успеха, а потом послать этот успех подальше и стать обычным бродягой".

Отец сказал: «Я не понимаю твоей логики, но раз уж ты решил стать бродягой, ничего не поделаешь».

Те семь лет... Он снова и снова мне повторял: «Это была главная ошибка. В те годы мы еще могли бы на тебя повлиять, сделать из тебя что-то приличное. Но бабка с дедом тебя окончательно испортили».

После смерти деда моя Нани уехала из деревни — утрата разбила ей сердце. Знаете, я видел тысячи супружеских пар... Я скитался по всей Индии, жил в самых разных домах и видел их жизнь изнутри, но ни разу не встречал семей, хоть чем-то похожих на моих стариков. Они любили друг друга по-настоящему.

Бабушка перебралась в город, где жил мой отец, но она была женщиной независимой. Ей не нравилось жить в одном доме с целой толпой родственников — братья отца, их жены, дети... Настоящий караван. И бабушка сказала: «Мне тут не место. Я всегда жила в тишине, только я и муж, если не считать тех семи лет, когда ты с нами жил. Разговоров было мало, да и говорить не о чем. Обычно мы просто сидели рядом молча». Она сказала: «Я хочу жить одна». Ей подыскали дом на берегу реки. Окрестности там были похожи на место, где она жила вместе с дедом. Озера в городе не было, но река была красивая.

Я целыми днями был в школе, бродил по городским улицам, у меня была тысяча дел, но ночевал я только у Нани. Она много раз говорила: «Твои родители, должно быть, обижаются. Мы забрали тебя на семь лет, и они не могут нам этого простить. Мы-то думали, что должны вернуть тебя таким же нетронутым, каким взяли. Мы не хотели ничего тебе навязывать. Но они сердятся. Не говорят об этом, но я-то чувствую, да и все вокруг говорят, что мы тебя испортили. А теперь ты не хочешь ночевать дома и каждый вечер приходишь ко мне. Они думают, что я продолжаю тебя портить — старик умер, но я еще жива».

Я отвечал ей: «Ты сможешь уснуть, если я не приду? Для кого ты каждый вечер готовишь вторую кровать? Я ведь даже не говорю, что приду. Я никогда не знаю, что будет завтра, да и кто вообще знает? Почему же ты расстилаешь вторую постель?»

У меня была давняя привычка. Позже моему психологу удалось меня от нее избавить, но на это ушло два-три года. Я с самого детства, сколько себя помню, ел перед сном сласти. Иначе я просто не мог уснуть. Бабушка не только готовила мне постель, она еще и заранее покупала все, что я любил. Сласти она держала у моей кровати, чтобы я мог поесть в любую минуту, даже среди ночи, если мне захочется.

Я ее спрашивал: «Для кого ты это покупаешь? Сама ты их не ешь. С тех пор, как умер Нана, ты ни единой конфеты не съела». Мой Нана очень любил сласти. Думаю, именно он меня к ним приучил, потому что он сам ел сладкое перед сном. У джайнов так не принято. Джайны вообще не едят на ночь, даже молока и воды перед сном не пьют. Но он был единственным джайном на всю деревню, так что никаких трудностей не возникало. Возможно, именно он приучил меня к сладкому. Он и сам ел сладкое, и меня звал. Постепенно это вошло в привычку. Конечно, целых семь лет так продолжалось!

А дома я не хотел ночевать по двум причинам. Прежде всего, дома сладкого не давали. Там было много детей, и если одного угощали конфетой, все остальные тут же начинали кланяться. А вера это запрещала, ты попросту не имел права о чем-то просить. Но я без сладкого не мог заснуть.

Во-вторых, я понимал, что бабушка любит одиночество, а в нашем доме трудно было побыть в тишине, там народу было как на базаре. И я думал: «В этой толпе моего отсутствия никто и не заметит». Это правда, никто по мне не скучал. Родители знали, что я ночую у Нани, и не волновались.

В общем, даже после первых семи лет я оставался вне сферы влияния родителей. Так уж получилось, что я с самого детства был предоставлен себе. Как бы я себя ни вел, плохо или хорошо, только я решал, что мне делать. И это постепенно стало образом моей жизни, это всего касалось — например, одежды.

В нашем городке я был единственным немусульманином, который одевался как мусульманин. Отец говорил: «Делай что угодно, только не это! Все на нас смотрят! Подумай о своих братьях и сестрах! Что это тебе в голову взбрело?»

В нашем городе мусульмане носили не индийские дхоти, а особые наряды, похожие на пижамы, — шалвары. Их носили пуштуны в Афганистане и Пакистане — далеких странах за Гималаями. Пусть они похожи на пижамы, но они очень красивые. Эти наряды не так скромно выглядят, как обычная пижама, на них много изящных складок. Из настоящих шалвар можно скроить добрый десяток пижам, столько на них складок. И эти складки, когда они аккуратно подобраны, придают одежде редкую красоту. Кроме того, я носил не индийскую, а длинную пушгунскую курточку. Индийские куртки коротенькие и рукава у них тесные, а у пушгунских просторные рукава, сами куртки тоже длинные, ниже колен. Наконец, я носил турецкую феску.

Отец мне говорил: «Ты все равно проходишь по лавке зажмурившись. Почему бы тогда не ходить через черный ход?» Он говорил: «Пользуйся черным ходом, избавь меня от необходимости отвечать на вопросы любопытных покупателей. Они вечно интересуются, кто этот мусульманин, что бродит туда-сюда с закрытыми глазами. И откуда у тебя эти бредовые идеи? У нас солидное заведение, тут полно готовой одежды, ты мог бы выбрать лучшее. Зачем ты носишь исламский наряд?»

В Индии считают, что нет ничего хуже исламского наряда. Я говорил отцу: «Именно поэтому. Все думают, что нет ничего хуже исламского стиля. Но я всем доказываю, что эта одежда, наоборот, самая лучшая. Посуди сам — где бы я ни появился, все сразу на меня

внимание обращают. И на улицах, и в школе — все замечают только меня».

Знаете, сколько пользы приносил мне этот наряд? Он действительно был роскошный, особенно феска — такая вытянутая шапочка и кисточка сбоку. Фески у нас носили самые богатые турки. Я был еще маленький, но этот наряд приносил мне много пользы.

Я мог, например, смело зайти в городскую управу. Солдат у ворот окидывал меня взглядом и говорил: «Проходите». Он ведь видел, как я одет... Иначе меня, малыша, никуда бы не пустили, но, глядя на мой наряд, солдат думал: «Это, наверное, шейх или сынок какой-то важной шишки». При виде моей одежды даже комиссар^[2] вскакивал с кресла и говорил: «Шейх-джи, бетье» — «Присаживайтесь, достопочтенный шейх».

Я отцу говорил: «Этот наряд мне много пользы приносит. Когда-нибудь я заявлюсь к министру, и он тоже подумает, что я шейх, отпрыск богатого араба или перса. И ты после этого хочешь, чтобы я носил дхоти и куртку? Да кто тогда обратит на меня внимание?»

Я ходил в этом наряде вплоть до тех пор, пока не поступил в университет. Домашние изо всех сил пытались меня переубедить, но, чем больше они заседали... Я им просто говорил: «Если перестанете меня уговаривать, я, может быть, и сам откажусь от этой одежды. Но если будете продолжать, я назло вам буду ее носить».

Однажды отец сложил мои шалвары, куртки и все три фески в узелок, отнес в подвал и спрятал где-то среди кучи бесполезного хлама. Проснувшись, я не нашел одежду и тогда просто вышел голышом. Зажмурился и пошел себе через лавку. Иду и слышу, как отец кричит: «Стой! Вернись! Оденься, бесстыдник!»

Я сказал ему: «Тогда верни мне одежду».

Он ответил: «Не думал я, что ты на такое решишься. Я надеялся, что ты поищешь одежду, а я ее хорошо спрятал. И тогда тебе придется надеть обычную одежду, как у всех. Но я не думал, что ты решишься ходить голым».

«Я предпочитаю не говорить, а действовать, — сказал я. — В пустую болтовню я не верю».

Я даже не спрашивал никого, где моя одежда. Зачем? Можно ходить и голым, тебя тоже сразу замечают. Отец сказал: «Ладно, забирай свою одежду, ты победил. Только голым не ходи, это еще хуже. Все начнут говорить, что продавец сукна не может одеть своего сына. О тебе и так дурная слава ходит, ты хоть нас не позорь. Все скажут: „Глядите, какой бедный ребенок!“ Все вокруг подумают, что мы не можем купить тебе одежду».

Так все и продолжалось. Я не упускал случая отточить свою смекалку. Я оттачивал сообразительность и характер при любой возможности. Теперь, представляя по этим деталям общую картину, вы можете многое понять... Окружающие просто не в состоянии были понять, что я за человек — какой-то сумасбродный чудак, — но я делал все это умышленно и целенаправленно.

Я говорил отцу: «Нет». Это было первое, что я сказал у входа в начальную школу. Я сказал отцу: «Нет, не хочу туда. Это не школа, а тюрьма». Сами ворота, цвет здания... Это так странно, но в Индии тюрьмы и школы одинаковы: здания из красного кирпича, окрашенные в один и тот же цвет. Глянешь на здание и сразу не разберешь, школа это или тюрьма. Если это проделки какого-то шутника, то здорово у него получилось.

Я сказал отцу: «Ты только посмотри! И это называется школа? Глянь на эти ворота! Неужели ты хочешь запереть меня тут на целых четыре года?»

Отец сказал: «Этого я и боялся...» Мы стояли у ворот, не во дворе, а снаружи, потому что я упирался и не хотел идти внутрь. «Я всегда боялся, — продолжил отец, — что дед и, главное, эта женщина окончательно тебя испортят».

«И правильно боялся, — ответил я. — Но дело уже сделано и теперь ничего не исправишь».

«Прошу тебя, пошли домой».

«Что? — воскликнул он. — Ты должен учиться!»

«Посмотри, как все начинается, — сказал я. — Меня уже лишают права выбора. Разве это учеба? Если ты за меня все решил, не нужно меня спрашивать. Возьми меня за руку и затащи во двор. Я, во всяком случае, буду знать, что попал в это кошмарное место не по своей воле. Сделай одолжение, заставь меня силой».

Отец, конечно, очень расстроился и действительно затащил меня во двор. Он был человек простой, но все равно понимал, что это неправильно. Он мне сказал: «Я твой отец, но мне все равно не хочется тебя заставлять».

«Не нужно чувствовать себя виноватым, — сказал я. — Ты поступил правильно. По доброй воле я сюда никогда не пришел бы, меня все равно понадобилось бы тащить силком. Мой выбор простой: не хочу. Но ты можешь навязать мне свое решение, потому что кормишь меня и одеваешь. Естественно, у тебя более выгодное положение».

Когда мы прошли сквозь школьные ворота, у меня началась новая жизнь. Я долгие годы жил как дикий зверек. Я даже не могу сказать «как дикарь», потому что дикарей сейчас нет.

Дикие люди появляются лишь время от времени. Я дикарь. Будда, Заратустра, Иисус — они тоже были дикими людьми. Но обо мне можно сказать, что в первые годы жизни я жил как дикий зверек.

Я никогда не приходил в школу по своей воле. И я рад, что меня туда силком тащили, против моего желания. Та школа действительно была кошмарной. По существу, все они ужасны. Нет ничего плохого в том, чтобы давать детям возможность учиться, но давать им образование — это совсем другое. Любое образование отвратительно.

Как вы думаете, кого я увидел в школе первым? Конечно, своего будущего учителя. За свою жизнь я повидал много красивых и уродливых людей, но этот тип был неподражаем! Он был преподавателем, он должен был стать моим учителем, но мне страшно было даже глядеть на него. Судя по всему, Господь очень торопился, когда лепил его лицо. Может, Богу приспичило и он помчался в туалет, так и не закончив дело, — но какой же урод в итоге получился! У него был крючковатый нос и только один глаз. Хватило бы и одного глаза, но этот нос делал лицо по-настоящему безобразным. А еще он был просто огромным. Он весил добрые полторы сотни кило, никак не меньше.

И это был мой первый учитель — точнее, преподаватель. Признаться, увидев этого человека, я бы и сейчас задрожал от страха. Хотя он больше коня напоминал, чем человека.

Мой первый учитель... Я не знал его настоящего имени, да и никто в школе не знал — я имею в виду, конечно, детей. Все называли его просто «учитель Кантар». Кантар переводится как «одноглазый», но это еще и ругательство. Прямой перевод невозможен, слишком много нюансов. В общем, в лицо все обращались к нему «учитель Кантар», а за глаза звали просто Кантаром, «одноглазым».

Безобразным было не только его лицо. Что бы он ни делал, это было отвратительно. И, разумеется, мой первый день в школе не мог пройти без скандала. Кантар совершенно безжалостно наказывал детей. Я никогда больше не слышал о подобных жестокостях по отношению к детям.

Он преподавал арифметику. Я немного умел считать, бабушка меня кое-чему научила. Она научила меня основам чтения и математики. В общем, я сидел за партой и смотрел в окно, на чудесные, сверкающие под солнцем фикусовые деревья. Ни одно другое дерево не может блистать в лучах солнца так, как фикус. Каждый листочек дрожит в собственном танце, а все дерево кажется настоящим хором — тысячи ослепительных танцоров и певцов сливаются в одно целое, хотя каждый ведет свою партию. Я глядел, как трепещет на ветру листва и каждый листок

переливается радугой. Я рассматривал сотню попугаев, которые скакали с ветки на ветку и радовались жизни просто так, без всякой причины. Еще бы, им ведь не нужно было ходить в школу!

Я сидел, смотрел в окно, и тут рядом вырос учитель Кантар.

«Нам стоит с самого начала расставить все по местам», — заявил он.

«Совершенно согласен, — кивнул я. — Я тоже хотел бы с самого начала расставить все по местам».

«Мы тут занимаемся арифметикой. Почему же ты смотришь в окно?» — спросил он.

«Арифметику слушают, а не смотрят, — пояснил я. — Я же не обязан разглядывать ваше прекрасное лицо. Мне приятнее смотреть в окно. Что касается арифметики, то можете вызвать меня к доске. Я все слышал и готов отвечать».

Он вызвал меня к доске, и это стало началом затяжной череды неприятностей. Правда, не для меня, а для него. Дело в том, что я правильно решил все задачи. Он не мог поверить в это и сказал: «Правильно или неправильно, но я тебя все равно накажу, потому что на уроке нельзя смотреть в окно».

Он велел мне подойти к учительскому столу, а сам достал из ящика коробку карандашей. Я был уже наслышан об этих знаменитых карандашах. Он вставлял их ученикам в пальцы, а потом давил и спрашивал: «Теперь все понятно? Ты все понял?» Представляете, маленьким детям!

Я бросил взгляд на карандаши и сказал: «Я слышал про ваши карандаши. Но прежде чем начнете мучить меня, вспомните, что это может вам дорого обойтись. Вы можете даже лишиться места».

Он рассмеялся. Доложу вам, в ту минуту он был похож на хохочущее чудовище, какие являются порой во снах. «И кто, по-твоему, может мне помешать?» — спросил он.

«Это неважно, — сказал я. — Я просто хочу спросить: смотреть в окно на уроке арифметики — это что, нарушение закона? И если я ответил на все ваши вопросы, решил все задачи и могу повторить урок слово в слово, то, что плохого в том, что я гляжу в окно? Если это запрещено, то почему в классе есть окна? зачем они? Днем тут уроки, а ночью окна не нужны, некому в них смотреть».

«А ты, похоже, настоящий смутьян», — сказал Кантар.

«Совершенно верно, — ответил я. — И сейчас я намерен сходить к директору и спросить, разрешает ли закон наказывать меня, если я правильно ответил на вопросы учителя».

В ту же секунду он начал вести себя немного добродушнее. Я сам удивился, ведь все говорили, что этого человека ничем не проймешь.

Тогда я сказал: «А потом я отправлюсь к председателю городской управы, попечителю этой школы. И завтра приду в школу в сопровождении комиссара полиции. Пусть он своими глазами посмотрит на здешние порядки».

Кантар вздрогнул. Никто этого не заметил, но у меня глаз был наметан, я видел много такого, что ускользало от других. Конечно, я не умею видеть сквозь стены, но мельчайшие, почти микроскопические тонкости всегда подмечаю. И я сказал ему: «Вы дрожите? Впрочем, вы все равно не признаетесь. В общем, посмотрим, как оно будет дальше. Но сначала я хочу поговорить с директором».

Я действительно пошел к директору, и он сказал: «Я знаю, что этот учитель наказывает детей. Это незаконно, но я ничего не могу поделать, потому что он самый старый учитель в городе. Его учениками были все горожане, их отцы и деды. Лучше с ним не ссориться».

«А мне плевать, — сказал я. — Мой отец, мой дед тоже у него учились. Но мне плевать, кто у него учился. Если честно, я в своей семье чужой. Я вырос далеко, а здесь я чужой».

Директор сказал: «Мальчик мой, я сразу заметил, что ты странный. Не нарывайся на

неприятности. Он тебя замучает».

«Это будет не так уж просто, — ответил я. — Думаю, пора перейти к борьбе с любыми пытками. Я готов».

Я сжал руку — маленькую детскую руку — в кулачок, стукнул по столу и заявил: «Учеба, образование — это меня не волнует. Меня волнует свобода. Никто не смеет меня мучить. Вы обязаны показать мне школьные правила. Я еще плохо читаю, так что вы мне, пожалуйста, покажите, где написано, что ученик не имеет права смотреть в окно, даже если при этом отвечает на пятерку».

«Если ты ответил на пятерку, никого не должно волновать, куда ты смотрел», — признал директор.

«Тогда пойдете со мной», — предложил я.

Директор всегда носил с собой ветхую книгу со сводом школьных правил. Не думаю, правда, что ее кто-нибудь читал. Директор сказал учителю Кантару: «Лучше не наказывайте этого ученика, это может аукнуться. Похоже, он не из тех, кто легко сдается».

Но учитель Кантар тоже был не из тех. Боюсь, совет директора возымел обратное действие — учитель стал еще жестче и свирепее. Он ответил: «Не беспокойтесь. Я сам ему все объясню. Кого волнуют все эти старые правила? Я всю жизнь работаю в школе, а какой-то сопляк будет мне указывать?»

«Завтра в этом здании будете либо вы, либо я, — заявил я. — Вместе мы не уживемся. Давайте подождем до завтра».

Я побежал домой и рассказал обо всем отцу. Он ответил: «Я начал тревожиться еще задолго до этого. Этого я и боялся — ты не только на себя беду накликаешь, но и на других, еще и меня в это втянешь».

«Да нет, я просто поставил тебя в известность, — объяснил я, — чтобы ты потом не говорил, будто от тебя что-то скрывали».

И я пошел к комиссару полиции. Он оказался замечательным человеком. Я даже не думал, что в полиции встречаются такие люди. Он сказал мне: «Слышал я про этого учителя. Честно говоря, он и моего сына наказывал. Просто никто на него не жаловался. Жестокое обращение с детьми противозаконно, но если нет жалобы, ничего нельзя поделать, а я сам боялся подать иск... Боялся, что сына оставят на второй год. Я решил, что пусть лучше он немного потерпит. Оставалось подождать всего пару месяцев, потом он переходил в среднюю школу».

«Тогда я подаю официальную жалобу, — сказал я. — Мне все равно, переведут меня дальше или оставят на второй год. Пусть хоть всю жизнь в первом классе держат».

Он посмотрел на меня, похлопал по плечу и сказал: «Ты молодец. Завтра я приду в школу».

После этого я направился к председателю городской управы, а он оказался не человеком, а тряпкой. Он мне сказал: «Я все знаю. Мы ничего не можем поделать. Терпи. Это не так страшно, все привыкают».

И я ему вот что ответил. Я запомнил каждое слово: «Не собираюсь я терпеть, совесть мне не позволит».

«Раз так, я ничем не могу тебе помочь, — сказал председатель. — Сходи к моему заместителю, может, он чем-то поможет». Вот за этот совет я был потом ему очень признателен, потому что его заместитель по имени Шамбху Дубе оказался единственным достойным человеком во всем нашем городе. Я постучал в дверь его кабинета. Помните, мне было всего девять лет, а он был заместителем председателя городской управы... Раздался голос: «Войдите». Он явно ожидал увидеть почтенного господина и немного смутился, когда понял, что перед ним какой-то мальчишка.

Я сказал: «Простите, что я еще маленький. Больше того, у меня нет никакого образования,

но я все равно хочу подать жалобу на учителя Кантара».

И он выслушал мой рассказ о том, как учитель пытается первоклассников, вставляя им карандаши между пальцами, загоня иголки под ногти... Он не мог в это поверить!

Потом он сказал: «До меня и раньше доносились подобные слухи... Но почему же никто не жаловался?»

«Люди боятся, что их детей будут терзать еще больше», — пояснил я.

«А ты сам не боишься?» — спросил он.

«Нет, — сказал я. — Потому что я готов остаться на второй год. Что он еще может мне сделать?» Да, я сказал, что готов остаться на второй год, но на самом деле собирался бороться до последнего: «Либо он, либо я — мы с ним рядом не уживемся».

Шамбху Дубе жестом подозвал меня поближе. Он взял меня за руку и сказал: «Я люблю смелых людей, но никогда не видел столь юных бунтарей. Ты молодчина!»

Мы подружились, и дружба наша тянулась до самой его смерти. В нашем городке... По существу, в деревне... Двенадцать тысяч жителей — по индийским меркам, это большая деревня. В Индии место считается городом, если в нем больше ста тысяч жителей. А полтора миллиона — это уже крупный город. Так вот, в нашей деревне я ни разу не встречал человека, который мог бы сравниться по талантам и душевным качествам с Шамбху Дубе. Кое-кто решит, что я преувеличиваю, но я во всей Индии такого человека больше не видел. Они очень редко встречаются.

Я бродил по всей стране, и он, бывало, месяцами ждал, пока я появлюсь в родном городке хотя бы на один день. Он единственный встречал меня на вокзале, когда в город приходил мой поезд, — конечно, не считая отца и матери, для них это была обязанность. Но Шамбху Дубе не был моим родственником. Он просто меня любил. И любовь эта зародилась во время нашей первой встречи, в тот самый день, когда я поднял бунт против учителя Кантара.

Шамбху Дубе был заместителем председателя городской управы, и он сказал: «Не волнуйся. Мы накажем этого типа. Можно считать, что его уже уволили. Он недавно подал прошение о продлении пребывания на должности, но мы ему откажем. С завтрашнего дня он уже не работает в школе».

«Вы обещаете?» — спросил я.

Мы посмотрели друг другу в глаза, и он с улыбкой сказал: «Я обещаю».

На следующий день учитель Кантар не появился. С тех пор он ни разу не осмелился со мной заговорить. Я пытался, я много раз приходил к нему и стучал в дверь — просто чтобы попрощаться, — но он оказался настоящим трусом, под львиной шкурой пряталась овечка. И все же мой первый день в школе имел много, очень много последствий...

Отец тоже кое-чему меня научил... По правде сказать, это было единственное, чему он меня научил. Он научил меня любить речку, которая протекала на окраине нашего городка. Вот и все, чему он смог меня научить, — плавать. Больше он ничего не смог мне дать, но за это я ему безмерно благодарен, эта любовь изменила всю мою жизнь. В точности как Сиддхартха, я влюбился в реку.

Мой распорядок дня был таким, что я ежедневно проводил на реке не меньше пяти часов, а то и все восемь. Я приходил туда уже в три часа утра — небо усыпано звездами, они отражаются в воде... Река была чудесная. Ее вода была такой вкусной, что саму реку в народе называли Шаккар, что означает «сахар». Прекрасный каприз природы!

Я смотрел, как в темноте звездной ночи река вытанцовывает среди берегов, прокладывая себе путь к океану. Я любовался ею в лучах утренней зари. Я глядел на нее при свете полной луны и полуденного солнца. Я сидел на берегу один или с друзьями, я играл на дудочке,

танцевал на песке, медитировал в тени деревьев, катался на лодке и просто купался. В сезон дождей, зимой и летом...

Я прекрасно понимаю, что чувствовал влюбившийся в реку Сиддхартха Германа Гессе. Так было и со мной: весь мир, вся Вселенная постепенно обретали отчетливость и медленно, очень медленно превращались в речной поток. Мир терял свою жесткость, он становился текучим, подвижным...

Я очень благодарен за это своему отцу. Он никогда не учил меня математике или грамматике, географии или истории. Мое образование его мало тревожило. Когда у тебя одиннадцать детей... я часто слышал, как его спрашивали: «В каком классе учиться твой старший?», а он не помнил, приходилось спрашивать кого-то из домашних. Образование его вообще почти не интересовало. И он преподавал мне только одну науку — науку слияния с рекой. Он и сам очень любил нашу речку.

Когда влюбляешься во что-то изменчивое, подвижное, меняются все твои взгляды на жизнь. Современные люди живут среди асфальтовых дорог, бетона и кирпичных зданий. Но помните, что это существительные, а не глаголы. Небоскребы не растут выше, шоссе одинаковы и днем и ночью, в полнолуние и в кромешном мраке. Асфальту, бетону и кирпичам все равно, что творится вокруг.

Человек создал мир существительных и стал пленником этого тесного мирка. Он забыл о мире деревьев, мире рек, гор и звезд. Природа не знает существительных, она о них и слыхом не слыхивала. Ей известны только глаголы. Все вокруг — это процесс. И Бог — не что-то определенное, а процесс.

В нашем городке была только одна христианская церковь. Христиан вообще было мало, четыре-пять семей, а я был единственным нехристианином, кто бывал в местной церкви. В этом, впрочем, ничего необычного не было, потому что я частенько заходил и в мечети, и в гурудвары, и в индуистские храмы, и в джайнистские. Я всегда считал, что все это по праву мое. Я не относил себя к какой-то конфессии, я сам не принадлежал этим храмам, но любой храм, любая церковь на земле — они мои.

Христианский священник заметил, что по воскресеньям в церковь приходит какой-то мальчик. Однажды он сказал мне: «Похоже, тебе тут интересно. Честно говоря, мне кажется, что тебе тут интереснее, чем любому из моих прихожан, а паства у меня совсем небольшая. Все просто дремлют, похрапывают, а ты такой внимательный, все слушаешь и все замечаешь. Хочешь стать таким же, как Господь наш, Иисус Христос?» — и он показал мне изображение Христа, распятого на кресте.

"Нет, что вы! — ответил я. — Я не хочу, чтобы меня тоже распяли! Я думаю, этот распятый человек что-то плохое сделал, иначе, зачем бы его так наказывали? Если весь народ, вся страна решила его казнить, значит, он сделал им что-то дурное. Может быть, конечно, он был хорошим человеком, не знаю, но просто так никого не распинают. А может, у него была склонность к самоубийству?"

Знаете, таким людям часто не хватает духу покончить с собой, вот они и добиваются того, чтобы их казнили. Впрочем, тут никогда не угадаешь. Как можно понять, что у человека просто тяга к самоубийству и он сам напросился на казнь, чтобы ответственность легла на других?"

«Лично у меня нет никакой тяги к самоубийству, — продолжил я. — У него, может быть, тоже не было, но он явно склонен к самоистязаниям. Посмотрите только на его лицо! Я много картинок с ним видел, и он всегда выглядит таким жалким, таким несчастным... Я даже пробовал перед зеркалом такое же лицо сделать, но ничего не вышло. Я очень старался, но не смог изобразить ничего и близко похожего. И вы считаете, что я могу стать таким же, как он?"

Никогда! Да и зачем?»

Священник был потрясен. Он только и выдавил: «Мне казалось, что Иисус тебе интересен...»

«Конечно, интересен! Во всяком случае, он вызывает у меня больше интереса, чем вы, потому что вы обычный проповедник и жалование за это получаете. Если бы вам месяца три не платили, вы бы отсюда сбежали, а вместе с вами и ваше учение забудут». Между прочим, так впоследствии и случилось. Семьи христиан жили у нас не постоянно. Они все работали на железной дороге, а потом их куда-то перевели. И тот священник остался один-одинешенек в крохотной церквушке, которую эти семьи своими силами выстроили. Никто не приносил жертвования, никто ему не помогал, никто не слушал проповеди. Кроме меня, конечно.

По воскресеньям он поднимался на кафедру и говорил: «Дорогие друзья...»

Я как-то ему сказал: «Постойте! Почему вы ко мне во множественном числе обращаетесь? Тут больше никого нет, так что вы можете говорить просто: „Дорогой друг“. Нет собрания верующих, вы можете даже на кафедру не подниматься, просто садитесь рядом — и поболтаем. Зачем целый час стоять столбом и напрягать связки?»

Так все и случилось. Через три месяца он просто исчез. Ему ведь не платили жалование... Христос, правда, говорил другое: «Не хлебом единым жив человек». Но без хлеба человеку тоже не прожить. Ему нужно что-то есть. Это далеко не все, человеку много чего нужно, но остальное может подождать, а вот без хлеба не обойтись. К тому же человек может жить только хлебом. Конечно, от человека в нем при этом немного останется. Но кто может точно сказать, сколько в нем от человека? Так или иначе, без хлеба никто еще не смог прожить, даже Иисус.

Я ходил и в мечеть, туда меня тоже пускали. Христиане, мусульмане — они любят обращать в свою веру. Они хотят, чтобы к ним переходили из других конфессий. Так что в мечети меня были очень рады видеть, но спрашивали о том же: «Ты хотел бы стать таким же, как Хазрат Мохаммед?» И тогда я с удивлением понял, что никому не нужно, чтобы я был самим собой, никто не поможет мне быть собой.

Всех волновало подражание кому-то другому — идеалу, их идеалу. Но почему я должен становиться чьей-то копией? Разве Бог не дал мне особого лица? Зачем мне жить под чужой маской, с чужим лицом, да еще и понимать, что своего я при этом лишился? Разве это принесет счастье? Ты ведь лишаешься даже своего собственного лица!

Как можно быть счастливым, если перестал быть собой?

Мир прекрасен именно потому, что камень — это камень, дерево — это дерево, река есть река, а океан есть океан. В природе ничто не пытается стать чем-то другим, иначе можно было бы совсем запутаться. Но человек почему-то этого захотел...

Вас с раннего детства учили быть кем-то другим. Делали это очень хитро и тонко. Вам внушали: «Ты должен быть таким же, как Кришна или Будда», а потом показывали изображения Будды и Кришны. Картинки были так искусно нарисованы, что у вас появлялось жгучее желание стать таким же — стать Буддой, Христом или Кришной. Вот это желание и есть корень всех бед.

Мне тоже все это говорили, но я уже в детстве решил, что останусь собой, чем бы это ни грозило. Как бы я ни поступал, хорошо или плохо, но я был самим собой. Даже если я попаду в ад, у меня, по крайней мере, останется чувство удовлетворенности тем, что я сам выбирал свой жизненный путь. Может быть, он заведет меня в ад — ну и ладно. Но я не испытывал бы счастья даже в раю, если бы попал туда, руководствуясь чужими советами, мыслями и учениями. Это означало бы, что я оказался там против своей воли.

Поймите меня правильно. Даже рай покажется суцим адом, если попал туда против своей воли. Но если ты следовал велениям собственной души, тебе и в аду будет хорошо, словно в раю.

Рай там, где распускаются цветы твоего истинного Я.

Ад там, где твое Я топчут, а тебе что-то навязывают.

В моем городке, как и всюду на Востоке, каждый год ставили «Рамлилу» — спектакль о жизни Рамы. Человек, который играл обычно роль Раваны, врага Рамы и похитителя его жены, был известным в наших местах борцом. Он был чемпионом штата, а вскоре должен был отправиться на общенациональное первенство. По утрам мы с ним почти в один и тот же час купались в реке и со временем подружились. Я его как-то спросил: «Вы каждый год перевоплощаетесь в Равану и каждый год терпите поражение. В тот самый миг, когда вы собираетесь сломать лук Шивы, чтобы жениться на Сите, дочери Джанаки, появляется гонец, который приносит весть о пожаре в вашей столице Шри-Ланке. И вы спешите туда, возвращаетесь в свою страну, а Рама тем временем сам ломает лук и женится на девушке. Вам не наскучило каждый год разыгрывать одно и то же?»

«Но так сказано в пьесе», — ответил он.

«Все в наших руках, — возразил я. — Я вот что предлагаю. Вы, должно быть, и сами знаете, что зрители на спектакле просто дремлют, они ведь из года в год, из поколения в поколение видят одно и то же. Давайте прибавим спектаклю остроты!»

«Ты о чем?» — спросил он.

«А вы вот что попробуйте...» — начал я...

И он это сделал!

Когда появившийся на сцене гонец объявил: «Ваша столица, золотая Шри-Ланка, объята пожаром — спешите!», мой друг громогласно заметил: «Заткнись, болван!» — да еще на английском языке!

Именно это я тогда ему предложил. И все, кто спал в зале, тут же проснулись: «Это же „Рамлила“! Откуда тут английский язык?»

А Равана на сцене продолжал: «Катись отсюда. Пусть столица горит, мне плевать. Вечно меня обманывали, но теперь-то я точно женюсь на Сите!»

Тут он схватил лук Шивы, разломал его в щепки и швырнул куда-то в сторону гор. Это ведь был бутафорский лук, из обычного бамбука. Потом Равана спросил Джанаку: «Где дочь твоя? Веди ее сюда! Меня авиалайнер ждет!»

Вот потеха была! Сорок лет прошло, но и сейчас, когда я встречаю людей из своего городка, они вспоминают ту постановку и говорят: «Никогда ничего подобного не видели».

Директор театра тут же опустил занавес. Актер, игравший Равану, был отличным борцом, и потребовалась дюжина ребят, чтобы увести его со сцены.

В тот день «Рамлилу» не повторяли. А на следующий день Равану заменили, удалось подыскать другого актера.

А мы с «настоящим» Раваной встретились у реки. «Да, меня теперь точно уволят», — посетовал он.

«Но вы же видели, что зрители хлопали, радовались, смеялись! — сказал я. — Год за годом вы играли одинаково — и никто не веселился, никто не аплодировал. Вы правильно поступили!»

Религия требует определенных религиозных качеств. Но чего религии всегда недоставало, так это чувства юмора.

Мне уже не разрешали встречаться с местными актерами. Руководство театра высказалось предельно ясно: если кого-то из актеров увидят беседующим со мной, к спектаклю его не допустят. Об этом не предупредили только одного работника, хотя он не был актером...

Он был простым плотником. Подрабатывал тут и там, в том числе и у нас дома. И я как-то ему сказал: «Знаете, у меня не получается встретиться ни с кем из актеров. Они боятся, что повторится то же самое, что было в прошлом году! Но разве это кому-то навредило? Всем

понравилось — всем зрителям, всему городу. Но теперь они за всеми актерами следят, а меня к ним на пушечный выстрел не подпускают. Но вы не актер, у вас совсем другая работа. Помогите мне».

«Знаешь, в прошлом году получилось так здорово, что я готов. Чем я могу помочь?» — спросил он.

Я ему объяснил. И он это сделал...

В истории о Рама есть такой эпизод. Его младшего брата Лакшмана в бою пронзает отравленная стрела. Рана смертельна. Лекарки говорят, что поможет только особая трава с горы Аруначаль, иначе Лакшмана не спасти и к утру он умрет. В это время актер неподвижно лежит на сцене, а Рама рыдает.

Но самый верный друг Рама, Хануман, говорит: «Не волнуйтесь. Я сейчас же отправлюсь к горе, найду траву и вернусь еще до зари. Пусть целители расскажут мне, как выглядит эта трава. На горе растет много трав, а времени мало, уже смеркается».

Один лекарь говорит: «Все очень просто. У этой травы есть одна особенность: ночью она светится, так что ее легко заметить. Как увидишь светящуюся траву, сорви пучок и спеши назад».

И Хануман отправляется к горе Аруначаль, но, добравшись туда, в изумлении замирает, потому что светятся все травы вокруг. Оказалось, что этим свойством обладает не только нужная трава, таких волшебных трав много.

Бедняжка Хануман — а он, в конечном счете, всего лишь обезьяна — растерян и не знает, что делать дальше. В конце концов, он решает прихватить с собой всю гору, а дальше лекарки пусть сами разбираются.

В этом действии спектакля плотник забирался на крышу. Он должен был тянуть веревку с Хануманом, который держал в руках картонный муляж горы с зажженными свечками. Я и предложил плотнику: «Подними его ровно до середины. Пусть повисит там со своей горой и прочим добром». Так он и сделал!

И вот картина: за кулисами мечется директор. Зал сгорает от любопытства и предвкушает дальнейшие события. Хануман исходит потом — он ведь висит на веревках с «горой» в руках. Директор театра в полном замешательстве. Он что-то кричит плотнику, а тот отвечает: «Не знаю, что приключилось. Похоже, веревка застряла».

Не придумав ничего лучшего, директор лезет наверх и перерезает веревку. Хануман со своей горой шлепается на сцену. Актер, который его играет, естественно, кипит от злости. Зато зрители в полном восторге! От этого актер бесится еще больше.

Тем временем Рама повторяет положенные по сценарию строки. Он говорит: «Хануман, мой самый верный друг...»

А Хануман ему заявляет: «Пошел ты к черту со своей дружбой! Я, кажется, ногу сломал!»

Рама невозмутимо продолжает: «Мой брат умирает...»

А Хануман вопит: «Ну и хрен с ним! Меня сейчас больше волнует, какой кретин веревку перерезал! Придушу!»

Закончилось все, как и в прошлый раз: опустили занавес, дальнейшие представления «Рамлилы» отложили. Директор и его помощники с перекошенными лицами заявили моему отцу: «Твой сынок нас погубил! Он насмехается над нашей верой!»

«Я не насмехаюсь над религией, — сказал я, — просто вношу в нее чувство юмора. Мне нравится, когда люди смеются. Зачем из года в год показывать одно и то же? В зале все спят, потому что каждый знает эту историю наизусть, может ее слово в слово повторить. Какой в этом смысл?»

Но старые консерваторы и ортодоксы не выносят смеха. Вспомните, что в храмах нельзя смеяться.

Отец моего отца очень любил меня именно за проказы. Он сам даже в преклонном возрасте оставался озорником. По этой причине он не очень-то ладил с отцом и другими своими сыновьями. Они ему говорили: «Тебе уже семьдесят, веди себя прилично. Твоим детям за пятьдесят, внуки уже женаты, у тебя даже правнуки есть — а ты такое вытворяешь, что в глаза людям стыдно смотреть».

Я был единственным, кто его понимал. Я любил этого старика по той простой причине, что он не забыл свое детство. И в семидесятилетнем возрасте он был шаловливым, как дитя. Он разыгрывал даже своих детей, зятьев и невесток. Их это просто шокировало.

Я был единственным, кому он доверял, потому что мы вместе придумывали наши проказы. Конечно, многое он все-таки не мог себе позволить, и эти штучки вытворял я. Например, когда его зять спал и нам нужно было забраться на крышу, это делал я, а не дедушка. Но мы помогали друг другу: он подставлял плечи, чтобы я мог вскарабкаться наверх и снять черепичную плитку. А потом мы брали бамбуковую палку, закрепляли на конце кисточку и ночью щекотали моему дяде лицо... Он вскакивал от страха, весь дом просыпался: «Что такое? Что случилось?» — но мы к тому времени уже убегали, а потом еще говорили ему: «Это, наверное, привидение было или вор. Я пытался его догнать, но не смог, темнота кругом».

Дедушка оставался ребячливым, и я видел, как велика его свобода. Он был самым старым в нашей семье. По идее, он должен был быть самым серьезным, самым озабоченным, ведь в каждой семье столько хлопот — но не тут-то было. Когда появляются трудности, люди всегда становятся серьезными и беспокойными, но его все это не трогало. Я только одного терпеть не мог — спать рядом с ним. У него была привычка накрываться с головой. Я с головой оказывался под одеялом, и я просто задыхался.

Я ему ясно сказал: «Я все готов терпеть, только не это. Перестань накрываться с головой, я не могу так спать, я задыхаюсь. Мне уютно и тепло — а дедушка обычно крепко прижимал меня к себе, — это очень здорово, но по утрам у меня сердце из груди выскакивает! Я понимаю, что ты хочешь мне добра, но однажды утром ты проснешься — а я задохнусь до смерти. Дружба дружбой, но спать рядом с тобой я не хочу».

А ему нравилось, когда я сплю рядом, потому что он очень меня любил. Он говорил: «Иди-ка сюда, поваляемся вместе».

Я ему отвечал: «Ты прекрасно знаешь, я не терплю, когда меня душат, даже если делают это из самых добрых побуждений». Еще у нас была традиция совершать долгие прогулки по утрам — а иногда и ночью, если на небе была луна. Но я никогда не позволял ему держать меня за руку. Он говорил: «Почему? Ты можешь упасть, споткнуться о камень или еще что».

«Все равно не надо, — отвечал я. — Насмерть я не убьюсь, зато смогу научиться падать. Я научусь быть внимательным и запомню, где лежат коварные камни. Но сколько можно водить меня за ручку? Ты ведь не сможешь оберегать меня вечно. Если можешь это пообещать, тогда я соглашусь, конечно».

Но он был человек честный и потому говорил: «Этого я обещать не могу. Я даже насчет завтрашнего дня ничего не могу обещать. Ясно только одно: я умру, а ты будешь жить еще очень долго, так что я действительно не смогу вечно водить тебя за руку».

«Тогда лучше я прямо сейчас начну учиться самостоятельности, — сказал я. — Когда-нибудь тебя уже рядом не будет, а я не хочу оставаться беспомощным. В общем, не нужно держать меня за руку. Упаду так упаду. Встану и отряхнусь. А ты не помогай, просто стой и смотри. В этом больше сострадания, чем в желании держать за руку».

И он все прекрасно понял. Он сказал: «Ты прав. Когда-нибудь меня действительно не будет рядом».

Пару раз упасть, ушибиться и самому подняться — это очень полезно. Даже заблудиться разок можно. Вреда от этого не будет. Если понял, что сбился с пути, вернись назад. Только так, на своих ошибках, и учатся жизни.

Отцу я часто говорил: «Не нужно мне ничего советовать, даже если я сам вдруг совета спрошу. Ты мне сразу скажи, честно и откровенно: „Разбирайся сам“. Не нужно давать мне советов». Если в любую минуту без малейшего труда можешь воспользоваться чужим советом, тебе и в голову не придет самому искать свой путь.

Я и учителям своим постоянно твердил: «Прошу вас, запомните одно: мне не нужна ваша житейская мудрость, просто учите меня своему предмету. Вы что читаете, географию или мораль? Разве география как-то связана с нравственностью?»

Я хорошо помню своего бедного учителя географии. Однажды он заметил, как я стащил что-то из кармана своего соседа по парте. Я у него из кармана деньги вытащил, а учитель заметил и сказал мне «Прекрати!»

"Это вас не касается, — ответил я. — Вы географию преподаете, а это вопрос морали. Если хотите, я готов вместе с вами пойти к директору. Могу спорить, что ни в одной программе по географии не сказано, что я не имею права брать чужие деньги. Деньги — это всего лишь деньги. Они принадлежат тому, у кого они в руках. Сейчас они мои. Пару секунд назад они были его, а теперь мои. Ему следовало быть внимательнее. Если вам так уж хочется что-то кому-то советовать, давайте советы ему.

И вообще, зачем брать столько денег на урок географии? Тут ничего не продают, так зачем нужны деньги? Почему он взял их с собой? Но раз уж он их принес, ему следовало быть бдительнее. Это не моя вина, это его вина, я просто воспользовался его промашкой, но это мое право. Любой имеет право воспользоваться хорошим случаем".

И я хорошо запомнил лицо своего бедного учителя. Ему всегда было со мной трудно. Он выставлял меня из класса и говорил: «Делай что хочешь, только не философствуй на уроке географии. Я ничего в философии не смыслю, я знаю только свой предмет. А ты такие вопросы задаешь, что я ночами уснуть не могу, все думаю, к чему эти вопросы относятся — к географии, философии или богословию».

Перед нашей школой росли два очень красивых дерева кадамбара. У них очень душистые цветки, и, если мне удавалось улизнуть с урока, я обязательно забирался на одно из этих деревьев. Место было отличное: учителя, даже директор, проходили подо мной, но никто и не подозревал, что кто-то может прятаться среди ветвей — а крона у деревьев была очень густая. Но если внизу проходил учитель географии, я просто не мог удержаться и непременно бросал в него какой-нибудь камешек. А он задирает голову и спрашивал: «Ты что там делаешь?»

Однажды я так ответил: «Мы не на уроке географии. Вы мешаете мне медитировать».

«А как же камешки, которые ты в меня бросал?» — поинтересовался он.

«Чистая случайность, — пояснил я. — Я их нечаянно уронил. Как странно, что вы оказались под деревом именно в эту секунду. Об этом стоит поразмыслить. Вам тоже стоит подумать, как могло случиться такое удивительное совпадение».

Он приходил к моему отцу и говорил: «Мальчик заходит слишком далеко». Учитель географии был плешивым, на хинди «лысый» звучит «мунде». Его настоящее имя было Чотелаль, но все звали его Чотелаль Мунде. Впрочем, достаточно было сказать и просто Мунде, потому что он был единственным лысым в округе. Оказавшись у его дома, я обычно стучал в дверь. Жена или еще кто-то из домашних выходили и говорили мне: «Почему ты его мучаешь? Ты его в школе терзаешь, на рынке, даже у реки, когда он ходит купаться».

Однажды его жена сказала: «Ты перестанешь мучить моего Мунде или нет?» — а он сам, оказалось, стоял тут же, за ее спиной.

Он схватил жену за шиворот и завопил: «Ты назвала меня Мунде! Из-за этого мальчишки весь город уже зовет меня Чотелаль Мунде — а теперь и моя жена так говорит! Я кому угодно готов это простить, только не тебе!»

И все же я настойчиво просил учителей: «Пожалуйста, делайте свое дело и не давайте советов, которые к вашему предмету не имеют отношения. Со своей жизнью я сам разберусь. Да, будет много ошибок и просчетов. Я готов делать ошибки, потому что только так можно чему-то научиться».

Моего дедушку ни в коем случае нельзя было назвать религиозным. Ему был ближе по духу грек Зорба: пей, ешь и веселись! Нет никакого иного мира, все это чушь. Вот мой отец — он был очень набожный. Возможно, именно потому, что его отец ни во что не верил — знаете, дух противоречия, разрыв между поколениями. Но в моей семье все было поставлено с ног на голову: дед мой был убежденным атеистом, а отец, наоборот, — истово верующим. Когда отец собирался в храм, дед, бывало, подтрунивал над ним. Он говорил: «Опять туда поперся! Давай, иди. Так всю жизнь и проведешь среди этих дурацких статуи!»

Я полюбил Зорбу по многим причинам, и одной из них стало то, что в нем я увидел своего деда. Он так любил вкусно поесть, что никому в этом отношении не доверял и сам себе готовил. Я за свою жизнь побывал в домах тысяч индийцев, но нигде не пробовал такой вкуснятины, какую готовил мой дед. Он так любил хорошую еду, что каждую неделю устраивал приятелям настоящее пиршество. Ради этого он готов был целый день возиться на кухне.

Мама, мои тетушки, прислуга и повара — он всех из кухни гнал. Когда дедушка готовил, никто не осмеливался ему мешать. Но со мной он держался дружелюбно. Он разрешал мне сидеть в уголке и смотреть, а сам приговаривал: «Учись! Нельзя ни от кого зависеть. Только ты сам знаешь, что тебе по вкусу. Кто еще может это знать?»

«Возиться на кухне мне не по душе, — отвечал я. — Я ленивый, хотя смотреть мне интересно. Готовить целый день напролет? Нет, это не для меня». В общем, готовить я так и не научился, но наблюдать за дедом было чертовски приятно — на кухне он творил, как скульптор, композитор или художник. Для него это было настоящее искусство. И если блюдо ему хоть чем-то не нравилось, он его тут же выбрасывал и начинал все заново, пока не мог с удовлетворением сказать: «Вот теперь получилось что надо!»

Он говорил: «Иногда понимаешь, что получилось пусть не идеально, но вполне сносно. Но я добиваюсь совершенства. Если блюдо не соответствует моим стандартам, я ни за что не поставлю его на стол. Я люблю то, что делаю».

А еще он сам готовил всякие напитки... Между прочим, что бы он ни делал, вся семья всегда была против. В семье говорили, что от старика одни хлопоты. То он никого на кухню не пускает, то собирает вечером всех безбожников города. А он специально тянул до самого вечера, чтобы досадить джайнам, ведь джайнизм запрещает, есть после заката. Он, бывало, заставлял меня каждую минуту выбегать во двор и смотреть, не зашло ли солнце.

Всех домашних он раздражал. Но они скрывали свою злость, потому что он был глава семейства, самый старший в семье. И они срывали свою досаду на мне. Это было проще всего. Они говорили: «Что ты бегаешь туда-сюда? Зачем тебе знать, зашло солнце или нет? Старик из тебя просто болвана какого-то хочет сделать».

Мне было очень горько, потому что книгу «Грек Зорба» я прочитал, когда дедушка был уже при смерти. Стоя у погребального костра, я думал только об одном — как здорово было бы, если бы я успел перевести эту книгу и прочитать ему. Я часто читал ему вслух, потому что он был неграмотный, только расписываться умел — и все. Ни читать, ни писать — но сам он этим очень гордился.

Он так говорил: «Очень хорошо, что отец не отдал меня в школу. Там меня испортили бы. Книги вообще портят людей». Он мне говорил: «Запомни, твой отец и дядья испорчены книгами. Они все время читали писания, религиозные тексты, а это полная чушь. Пока они горбились над книгами, я жил настоящей жизнью. Жизни учатся на деле, а не по книгам».

Еще он мне вот что говорил: «Тебя хотят отправить в университет. Меня они не слушают. И я тут вряд ли чем-то помогу. Если твои родители захотят, они все равно отправят тебя учиться. Но ты будь осторожен с книгами — они могут засосать навсегда».

Он умел подбирать точные слова. Я его спрашивая: «Все вокруг верят в Бога, а ты, Баба, почему не веришь?» Я называл его баба, так в Индии обращаются к деду, отцу отца.

«Потому что я ничего не боюсь», — отвечал он.

Это очень простой ответ. «Почему я должен бояться? Мне нечего бояться. Я не делал ничего дурного, я никому не причинял вреда. Я просто жил себе и радовался. Если Бог есть, и мы с ним когда-нибудь встретимся, он не станет на меня сердиться. Это я имею право сердиться на него. Я могу спросить: „Почему ты сотворил такой мир?“ Так что мне нечего бояться».

Когда он умирал, я еще раз спросил его об этом. Врачи сказали, что он долго не протянет. Пульс был слабый, сердце едва колотилось, но он оставался в полном сознании, и я спросил его: «Баба, ответь мне...»

Он открыл глаза и сказал: "Я знаю твой вопрос, почему я не верю в Бога? Я знал, что ты обязательно спросишь об этом перед моей смертью. Думаешь, смерть меня испугала? Я жил так радостно, моя жизнь была такой счастливой, что даже перед смертью я ни о чем не жалею.

Что бы я делал завтра? Я сделал все, что хотел. Раз сердце останавливается, значит, все идет как надо, ведь мне сейчас очень спокойно, приятно и хорошо. Не знаю, умру я прямо сейчас или проживу еще немного. Но ты одно запомни: я по-прежнему ничего не боюсь".

Когда я закончил школу, вся семья перессорилась, потому что все от меня чего-то хотели. Одни говорили, что мне нужно стать врачом, другие мечтали, чтобы я был ученым, третьи — инженером, потому что в Индии это очень уважаемые профессии, таким специалистам хорошо платят. Мне твердили: «Ты станешь богатым и знаменитым, все будут тебя уважать». Но я сказал: «Я хочу изучать философию».

«Что за чушь? — завопили домашние. — Ни один здравомыслящий человек не станет изучать философию. А что ты потом будешь делать? Шесть лет учиться в университете, чтобы потом стать безработным? Кому нужна твоя философия, ты не сможешь устроиться даже на самую паршивую должность!»

И они были совершенно правы. В Индии, чтобы устроиться на какое-нибудь плохонькое место — например, на должность почтового клерка, — достаточно школьного аттестата. Если же у тебя есть степень магистра философии и красный диплом, тебе просто откажут. Именно потому, что у тебя высшее образование! В этом случае образование просто мешает! Клерк не должен философствовать, иначе с ним хлопот не оберешься.

В общем, мне говорили: «Ты потом всю жизнь жалеть будешь. Подумай хорошенько».

А я отвечал: «Вы же знаете, думать я не умею. Я просто смотрю вокруг. У меня нет выбора, я знаю, чего мне хочется. И я не думаю, какая профессия принесет больше денег. Я буду изучать философию, даже если потом нищим стану».

И они растерялись. Они спрашивали: «Но почему тебе так приспичило изучать философию?»

«Потому что потом я намерен посвятить свою жизнь борьбе с философами, — объяснял я. — Но для этого мне нужно все о них знать».

«Господи! — восклицали они. — Что ты несешь? Нам и в голову не приходило, что человек

может изучать философию, чтобы потом воевать с философами». Впрочем, они уже знали, что я ненормальный. «Этого и следовало ожидать, — говорили они, но потом опять принимались меня уговаривать. — Еще есть время, подумай. Занятия в университете начинаются через месяц. Может, передумаешь?»

«Месяц, год или вся жизнь... — отвечал я. — Это не имеет значения, потому что у меня нет выбора. Когда у тебя есть долг, ты не выбираешь».

Один из моих дядюшек, закончивший университет, заявил: «Да с ним же говорить невозможно! Он несет полную ахинею. „Долг, когда не выбираешь...“ Это бессмыслица, не имеющая ничего общего с реальной жизнью. Тебе ведь понадобятся средства, чтобы купить дом и содержать семью».

«У меня не будет семьи, — возразил я. — Я не собираюсь покупать дом и кого-то содержать!» У меня действительно никогда не было ни дома, ни семьи. Я беднейший человек на свете!

Им не удалось сделать из меня врача, инженера, ученого, и потому все ужасно разозлились. Я стал бродячим учителем, начал скитаться по всей стране и делать то, ради чего изучал логику и философию — а на самом деле я просто хотел хорошенько узнать своего врага! — и очень скоро ни один философ не осмеливался вступить со мной в спор. И тогда мою родню замучили угрызения совести. Они поняли, как здорово, что я не стал врачом, инженером или ученым. Я доказал, что они ошибались. И они начали просить у меня прощения.

«Ничего страшного, — ответил я им. — Я ведь все равно не слушал ваши советы. Вы не смогли переубедить меня при всем желании! Я сделал бы то, что хотел, даже если бы весь мир был против. Не нужно терзаться чувством вины. Я ваших советов не слушал. Я слышал, что вы говорили, но все равно не слушал. Во мне уже созрело решение и окрепла решительность».

Вопрос: Вы уверены, что будете существовать в какой-то форме после ухода из этого мира?

Ответ: Да, но без всякой формы. Я буду существовать вне форм.

Вопрос: Вечно?

Ответ: Вечно. Я был здесь вечно и буду вечно.

Вопрос: После смерти ваше сознание сохранится?

Ответ: Да, потому что смерть и сознание не имеют ничего общего.

Вопрос: Останется ли у вас после смерти та же личность?

Ответ: Никакой личности.

Из беседы с Джоном Мак-Коллом, «Сиэтл пост-интеллидженсер»

На Востоке принято обращать внимание, как человек умирает. В этом отражается вся жизнь, весь образ жизни. Посмотрев, как человек умирает, можно написать его биографию, потому что эти мгновения вмещают всю его жизнь. В миг смерти человек молниеносно показывает всего себя.

Жалкие люди умирают со сжатыми кулаками — они цепляются за жизнь, до конца пытаются уйти от смерти, не могут расслабиться даже в последние минуты. Человек любящий умирает с раскрытыми ладонями, он и в последний миг делится с другими... делится своей смертью точно так же, как прежде делился жизнью. Все написано на лице, по выражению лица легко понять, как человек жил, сохранял ли он осознанность. Если да, его лицо озарено легким сиянием, тело окутано аурой. Подойдешь ближе и ощутишь покой — не печаль, а спокойствие. Когда человек умирает в покое, ты можешь даже ощутить рядом с ним счастье.

Я понял это еще в детстве. В нашем городке умер один праведник. Я был к нему привязан. Этот почти нищий человек был священником в маленьком храме. Когда я проходил мимо — а я проходил мимо дважды в день, по дороге в школу и из школы, — он подзывал меня и угощал фруктами или сладким.

Когда он умер, я был единственным ребенком на его похоронах. Там собрался весь город. Я не мог поверить в случившееся и начал смеяться. Там был и мой отец. Он пытался остановить меня, ему стало стыдно. На похоронах никто не смеется. Отец заставлял меня замолчать, снова и снова повторял: «Замолчи!»

Но я никогда прежде не испытывал такой безудержной радости. И с той поры у меня тоже никогда больше не было подобных приступов смеха. Я хохотал так, будто произошло нечто чудесное. Я просто не мог удержаться. Я смеялся громко, и все вокруг возмущались. Меня отвели домой, и отец сказал: «Я никогда больше не пущу тебя на такое серьезное мероприятие. Ты всех нас опозорил. Почему ты смеялся? Что с тобой случилось? Разве над смертью можно смеяться? Все скорбят, рыдают — а ты хохочешь».

«Да, кое-что случилось, — ответил я. — В смерти этого старика было нечто невероятно прекрасное. Он умер в экстазе». Конечно, я говорил другими словами. Я пытался объяснить, что для того человека смерть была приятна, она принесла огромное блаженство, он смеялся от счастья, и потому я тоже радовался. Он смеялся, все вокруг было пронизано энергией его смеха.

Все решили, что я сумасшедший. Разве можно умереть, смеясь? С тех пор я не раз был свидетелем того, как умирают люди, но никогда больше не видел такой счастливой смерти.

Умирая, человек выплескивает в мир всю свою энергию, и эта энергия отражает его отношение к жизни. То, каким он был — грустным, веселым, любящим, злым, страстным, сострадательным... Каким бы он ни был, эта энергия распространяет вибрации всей его жизни. Когда умирает святой, возможность быть рядом — величайший дар судьбы. Пропитаться его энергией — невероятное благословение. Эта энергия переносит тебя в совершенно иное измерение. Она увлекает, затягивает, опьяняет. Смерть может стать великим свершением — но только если свершением была и сама жизнь.

В детстве у меня была привычка следовать за каждой похоронной процессией. Родители тревожились: «Ты ведь не знал покойного. Он тебе не родственник и не друг. Зачем тратить время?» Дело в том, что в Индии похороны продолжаются три, четыре, даже пять часов.

Процессия движется за телом, которое провозят через весь город на окраину и там сжигают на погребальном костре... Вы ведь знаете индийцев, они ничего не умеют делать хорошо. Костер не разгорается, ветки еле тлеют, тело не хочет гореть, и собравшиеся начинают суетиться, потому что всем хочется побыстрее покончить с этой тягостной церемонией. Но у покойников тоже есть свои хитрости. Они изо всех сил стараются задержаться тут как можно дольше.

Я говорил родителям: «Какая разница, родственник он мне или нет? Нас всех роднит смерть, этого никто не станет отрицать. Не важно, кто умирает. Любая смерть символична. Когда-нибудь и я умру. Я хочу знать, как живые ведут себя по отношению к мертвым, как мертвые ведут себя по отношению к живым. Как еще мне это узнать?»

«Странные у тебя доводы», — говорили родители.

А я возражал: «Будете доказывать, что ко мне смерть не имеет никакого отношения, что я никогда не умру? Если вам удастся это доказать, я перестану ходить на похороны. Если нет, я должен все узнать заранее». Но никто не осмеливался утверждать, что я никогда не умру, и потому я говорил: «Раз так, не мешайте мне. Я ведь вас не заставляю со мной ходить. А мне нравится бывать на похоронах».

Прежде всего, я заметил, что люди не говорят о смерти — даже на похоронах. На погребальном костре сгорает тело отца, брата или дяди, друга или врага — человека, которого с собравшимися связывало множество нитей судьбы. Он умер, а все вокруг болтают о пустяках.

В толпе скорбящих говорят о кинофильмах, политике и ценах на рынке. Говорят о чем угодно, кроме смерти. Люди собираются небольшими стайками и рассаживаются вокруг погребального костра. Я обычно переходил от одной кучки к другой, но нигде не говорили о смерти. Я понимаю, люди обсуждают бытовые вопросы, чтобы отвлечь мысли, чтобы не видеть горящего тела — потому что это их тело тоже.

Если бы они могли хоть немного проникать в суть вещей, то постигли бы, что на этом костре пылает их собственное тело. Это ведь вопрос времени. Завтра на этом месте сожгут кого-то другого. Когда-нибудь на погребальный костер положат мое тело, но что при этом будут делать собравшиеся? Вот какими станут их прощальные слова: они будут болтать о том, что цены подскочили, что рупия падает — и все это перед лицом смерти. И они сядут так, чтобы оказаться спиной к костру.

Они приходят, потому что надо, хотя и не хочется. И потому они сидят с отсутствующим видом, просто подчиняясь общественным условностям, просто показывая, что они тут. Это делается только для того, чтобы их самих после смерти понесли на костер, а не повезли на бесплатном грузовике от городской управы. В самом деле, раз они ходили на чужие похороны, значит, и другие люди обязаны похоронить их честь по чести. Они прекрасно знают, зачем пришли — только ради того, чтобы на их похороны тоже кто-то пришел.

Но что они там делают? Я спрашивал об этом знакомых. Один раз я встретил на похоронах

школьного учителя, он там страшную чушь нес — обсуждал, как один его приятель крутит роман с женой другого приятеля... А я сказал: «Сейчас не время говорить о чужих женах и интрижках! Подумали бы лучше о жене покойного. Но о ней никто не думает, это никого не волнует. Подумайте, что будет делать ваша жена, когда вы умрете! С кем она заведет роман? Что она будет делать? Вы приготовились к собственной смерти? Неужели вы не видите, как все это глупо? Смерть тут, перед нами, а вы изо всех сил стараетесь ее не замечать». Но так принято во всех религиях. Эти люди просто олицетворяли определенные традиции определенных религий.

Отец моей матери рассказывал, что после моего рождения он отправился к одному из самых известных в те дни астрологов. Тот составил мою звездную карту, посмотрел на нее и заявил: «Я смогу сказать что-то определенное только после того, как ребенку исполнится семь. Честно говоря, он едва ли столько протянет. Если дитя умрет, гороскопы не понадобятся. Знаете, — добавил он, — у меня правило такое: я не трачу время, если гороскоп может оказаться бесполезным».

К назначенному сроку тот астролог уже умер, и повторный гороскоп составлял его сын. Но он тоже был озадачен. Он сказал: «Я не сомневаюсь, что ребенок погибнет, прежде чем ему исполнится двадцать один год. Смерть будет подстерегать его каждые семь лет». По этой причине мои родители и все семья постоянно за меня тревожились. Всякий раз, когда близился конец очередного семилетнего цикла, они начинали сильно волноваться. Астролог, между прочим, был прав. Мне удалось выжить, но уже в семилетнем возрасте я испытал острые переживания, связанные со смертью — только не своей, а моего дедушки по матери. Но я был так привязан к нему, что, когда он умирал, мне казалось, будто это я умираю.

Я по-своему, по-детски подражал этой смерти. Три дня я ничего не ел и не пил. Я решил, что это стало бы настоящим предательством. Дедушка был неотъемлемой частью меня самого. Я с рождения был окутан его любовью.

Когда он умер, я решил, что набивать брюхо было бы предательством. Мне вообще жить не хотелось. Я вел себя по-детски, но это привело к каким-то глубинным переменам. Три дня я лежал навзничь и не мог заставить себя подняться с постели. Я сказал себе: «Дедушка умер, и я тоже хочу умереть». Я выжил, но те три дня стали для меня опытом смерти. В каком-то смысле я действительно умер и начал сознавать — теперь я понимаю это отчетливо, а тогда ощущение было смутным: смерти нет. Это была просто внутренняя убежденность.

Когда мне исполнилось четырнадцать, домашние снова начали тревожиться за мою жизнь. Я пережил и этот возраст, но на этот раз воспринимал все сознательно. Я сказал родителям: «Если астролог прав и я действительно могу умереть, к этому стоит подготовиться. Зачем давать смерти шанс? Почему не пойти навстречу, чтобы подкараулить ее на полпути? Раз уж мне суждено умереть, я предпочитаю сделать это сознательно».

И я выпросил в школе неделю каникул. Я пришел к директору и сказал: «Скоро я могу умереть».

«Что за бред? — спросил он. — Ты что, решил покончить с собой? О чем ты говоришь?»

Я рассказал ему о предсказании астролога. Я объяснил, что каждые семь лет меня ждет угроза смерти. «Отпустите меня на неделю. Я найду уединенное место и буду ждать смерти. Если она придет, я хочу встретить ее с полным пониманием происходящего, чтобы смерть стала важным переживанием».

Потом я отправился в один храм на окраине городка. Я попросил тамошнего священника не беспокоить меня. Храм был очень красивый, люди заглядывали туда редко, потому что он был старый, полуразвалившийся. Мало кто вообще знал, что он существует. И я сказал священнику: «Я хочу пожить здесь немного. Если не трудно, приносите мне раз в день немного воды и хлеба,

а я буду просто лежать и ждать смерти».

Я ждал целую неделю. Эти семь дней принесли мне чудесные переживания. Смерть так и не явилась, но я изо всех сил пытался представить, что уже умер. У меня возникали странные, причудливые ощущения. Много чего было, но главное в другом: почувствовав, что можешь скоро умереть, ты становишься спокойным и тихим. Никаких тревог больше не возникает, потому что заботы связаны с миром живых. Жизнь — вот корень любых беспокойств. Но зачем тревожиться, если каждый знает, что когда-нибудь умрет?

В общем, я просто лежал там, на полу храма. На третий или четвертый день в дверной проем вползла змея. Я сразу ее заметил, но мне не было страшно. Наоборот, у меня вдруг возникли очень странные ощущения. Змея подползала все ближе, а я чувствовал себя на редкость странно. Страх не было, я просто думал: «Ты ведь ждал смерть. Вот она и явилась в облике змеи. Чего тут бояться? Ты ведь сам пошел ей навстречу».

Змея переползла через меня и скрылась в какой-то щели. Мне по-прежнему ничуть не было страшно. Если смирился со смертью, страха не будет. Страх появляется только тогда, когда продолжаешь цепляться за жизнь.

Мне досаждали скопища мух. Они кружили повсюду, ползали по моему телу, опускались на лицо. Иногда это раздражало, мне хотелось смахнуть их, но потом я думал: «Зачем? Рано или поздно я все равно умру и не смогу поднять руку. Пусть себе ползают».

Стоило мне смириться с мухами, как раздражение тотчас же улетучилось. Они продолжали ползать по телу, но меня это уже не беспокоило, словно они ползали по телу другого человека. Я мгновенно отстранился от самого себя. Если ты принял смерть, все сразу отдаляется — вся жизнь с ее тревогами и раздражениями уходит на задний план. В определенном смысле; я действительно умер, но именно тогда понял, что в человеке есть нечто бессмертное. Если ты целиком и полностью смирился со смертью, то сразу начинаешь это сознавать.

Когда мне стукнул двадцать один год, домашние опять засуветились, но на сей раз я, сказал: «Чего вы еще ждете? Нечего ждать. Я уже не собираюсь умирать».

Конечно, когда-нибудь я все-таки умру — физически. Так или иначе, предсказание астролога сослужило мне отличную службу. Благодаря ему я очень рано понял, что такое смерть. Я медитировал на нее, постигал ее и заранее смирился с ее неизбежным приходом.

Просветление: Разрыв с прошлым

Я хочу рассказать вам чудесную буддийскую историю.

В одном городе, откуда ни возьмись, появилась вдруг прекрасная девушка. Никто не знал, кто она и откуда пришла. Но девушка была так красива, очаровательна, обворожительна, что никто не забивал себе голову подобными вопросами. Жители городка собрались на совет, потому что все юноши — а их там было не меньше трех сотен, — мечтали жениться на этой девушке.

Девушка сказала: «Послушайте, вас триста, а я одна. Но выйти замуж можно только за одного. Давайте так условимся. Завтра в это же время вы должны рассказать мне сутру о лотосе Будды. Даю вам сутки. Кто сможет ее повторить, за того я и выйду».

Юноши в спешке разбежались по домам. Позабыв о еде и сне, они всю ночь напролет вызубривали сутру. Десятерым удалось запомнить ее от начала до конца. Наутро все снова собрались на площади. Девушка слушала, а десять юношей поочередно декламировали сутру.

И девушка сказала: «Замечательно, но вас десятеро, а я одна. Поступим так: кто сумеет разъяснить смысл сутры о лотосе, за того я выйду. Я опять дам вам ровно сутки. Поймите меня правильно: помнить сутру — это очень хорошо, но, кто знает, вдруг вы повторяете слова, не понимая их смысла?»

Времени было в обрез, всего одна ночь, а сутра о лотосе очень большая. Но когда человек теряет голову от любви, он становится способным на все. Юноши разошлись по домам, а наутро вперед вышли трое. И все трое правильно пояснили смысл сутры.

Тогда девушка сказала: «Вас стало меньше, но я все равно не могу выйти замуж сразу за троих. Было триста, осталось трое, но мне нужен только один. Давайте не пожалеем еще двадцати четырех часов. Я выйду за того, кто не просто понял смысл сутры, но и постиг ее душой. Вы все правильно объяснили, но это логические выводы. Это, конечно, лучше, чем просто повторять слова, вы все-таки вникаете в содержание, но понимаете его умом. А теперь я хотела бы видеть медитативное постижение, духовное переживание. Я хочу видеть, как лотос проникает в вашу личность, как вы сливаетесь с ним и обретаете его черты. Я хочу ощутить это. Увидимся завтра».

Наутро явился только один юноша, и он действительно постиг сутру всей душой. Девушка привела его к своему дому за чертой города. Юноша никогда прежде не видел такого дома — тот был чудесен, словно его перенесли сюда из царства грез. У ворот стояли родители девушки. Они обняли юношу и сказали, что счастливы его видеть.

Девушка вошла в дом и о чем-то пошептала с родителями. Затем родители снова вышли на крыльцо и сказали: «Входи. Она ждет тебя. Ее комната вон там». Он вошел в дом, открыл дверь, но там никого не было. Дверь вела не в комнату, а в прекрасный сад. Юноша огляделся — может быть, девушка спряталась среди деревьев? Да, должно быть, она проходила тут, ведь на тропинке остались следы. И юноша пошел по этим следам. Он прошел добрую милю — сад кончился, и теперь парень оказался на берегу чудесной реки. Но там девушки тоже не оказалось. Следы исчезли. На песке лежала лишь пара туфель — золотых туфель его любимой.

Юноша ничего не понимал. Что происходит? Он оглянулся назад — но там не было ни сада, ни домика, ни родителей. Все исчезло. Он повернулся было к реке — но и река исчезла, и песок, и золотые туфельки. Осталась лишь пустота, в которой зазвучал громкий смех.

И юноша тоже рассмеялся. Он понял, на чем женился.

Эта притча прекрасна. Юноша женился на пустоте, он взял в жены ничто. Это тот самый брак, которого извечно искали все великие святые. Так становятся невестами Христовыми или

гопи Кришны. Но все исчезает — тропинка, сад, дом, девушка, даже следы на песке. Все исчезает. Остается только смех — смех, исходящий из самого чрева Вселенной.

Я с самого раннего детства был влюблен в тишину. Я сидел молча, сколько хватало сил. Естественно, домашние считали меня бездельником — и были совершенно правы! Так и есть, я — бездельник, но ничуть об этом не жалею.

Доходило до того, что я мог сидеть себе, а мама подходила и говорила, например: «Прости, но дома никого нет, а мне нужно, чтобы кто-то сбегал на базар за овощами». А я продолжал сидеть и отвечал: «Если кто-то появится, я непременно передам».

Все привыкли смотреть на меня как на пустое место — не имело значения, тут я или нет. Время от времени они снова пытались поручить мне какие-то дела, но быстро бросали эти попытки и говорили: «Оставим его в покое, все равно толку не будет». По утрам меня просили что-нибудь купить на рынке, а вечером я приходил и говорил: «Я забыл, что нужно было купить, а теперь базар уже закрылся...»

Мама как-то сказала: «Ладно, мы сами виноваты. Мы целый день ждали, но дело не в этом. Просто не нужно было тебе ничего поручать. Интересно, чем же ты сегодня занимался?»

«Я вышел из дома и увидел чудесное дерево бодхи», — ответил я. Именно под деревом бодхи достиг просветления Гаутама Будда. Собственно, благодаря нему это дерево и получило свое название. Никто уже и не помнит, как называли эти деревья до просветления Будды. Какое-то название, конечно, было, но после Будды дерево переименовали в его честь.

У нас возле дома действительно росло красивое дерево бодхи. Оно просто манило меня. Под его сенью всегда царил тишина и прохлада, никто мне там не мешал. Я не мог пройти мимо, хоть чуток под ним не посидев, а иногда мог сидеть там и весь день напролет.

После нескольких подобных случаев родители решили вообще меня не беспокоить. Они вели себя так, будто я вообще перестал существовать, и это меня безмерно радовало. Это принесло мне удивительную свободу. Никто от меня ничего не требовал, а когда никто от тебя ничего не хочет, ты погружаешься в молчание. Мир принимает тебя как часть себя, потому что ничего уже от тебя не ждет.

Когда я задерживался допоздна, меня искали обычно в двух местах — либо в доме моей Нани, либо под тем деревом бодхи. Поскольку поиски начинали с дерева, я обычно забирался по веткам на самую верхушку. Домашние подходили и говорили: «Нет, тут его, похоже, нет».

А я кивал головой и мысленно говорил: «Это точно. Меня здесь нет».

Моим первым внетелесным переживанием стало падение с дерева. Я медитировал обычно на задворках университета, на прекрасном холме с тремя высокими деревьями. Там было очень тихо, никто туда не ходил. Я забирался на одно из деревьев и медитировал. Однажды я вдруг понял, что продолжаю сидеть на ветке, а тело мое упало и лежит под деревом. Я оставался наверху и соображал, как вернуться в тело. На счастье, мимо шла женщина из соседней деревни, она несла продавать молоко и заметила лежащего неподвижно человека. Она, должно быть, слышала, что в тех случаях, когда внутреннее тело отделяется от внешнего, нужно потереть человеку межбровье — точку «третьего глаза», врата входа. Покидая тело, дух оставляет эти воротца открытыми.

И она потеряла мне лоб. Я видел, как она подносит руку к моей голове, а в следующий миг уже открыл глаза, поблагодарил крестьянку и спросил, как ей это удалось.

Она сказала, что просто слышала где-то об этом. Она была из глухой деревушки, но и туда доносились распространенные слухи о том, что именно через «третий глаз» дух покидает тело и возвращается назад.

Я искал врата просветления, сколько себя помню — с самого раннего детства. Должно быть, эта мечта осталась у меня от прошлых жизней, потому что не было ни дня, когда бы я не занимался этими поисками. Конечно, все вокруг считали меня чудаковатым. Я никогда не играл с другими детьми. Я даже не заговаривал со своими ровесниками. Мне они казались туповатыми. Они и в самом деле занимались поразительными глупостями. Я никогда не хотел играть в футбол, волейбол или хоккей. Естественно, все считали меня странным. Что до меня, то я тоже пришел к такому выводу. Повзрослев, я понял, что на самом деле странный не я, а весь наш мир.

Последний год жизни дома, когда мне исполнился двадцать один год, стал периодом душевных срывов и духовных прорывов. Разумеется, все те, кто меня любил — родители, друзья и преподаватели, — отчасти понимали, что со мной происходит. Но почему я так отличался от остальных детей? Почему часами сидел с закрытыми глазами? Зачем усаживался на берегу реки по ночам и смотрел в звездное небо? Естественно, те, кто не понимает подобных вещей — а мне и не очень-то нужно, чтобы их понимали, — считали меня сумасшедшим.

Меня почти не замечали даже дома. Меня постепенно перестали о чем-то спрашивать. Все вели себя так, будто меня здесь нет. И это мне нравилось — так я превращался в ничто, в пустоту, в полное отсутствие чего-либо.

Тот год выдался примечательным. Я окутал себя пустотой. Я утратил какую-либо связь с внешним миром. Если мне напоминали, что пора искупаться, я шел купаться и сидел в воде часами. Им приходилось стучать в двери и кричать: «Эй, выходи! Ты там уже столько сидишь, что на месяц хватит!» Я ел, когда мне говорили, что пора поесть. Если никто об этом не напоминал, я мог не есть несколько дней кряду. Нет, я не постился, я и не думал соблюдать посты и гонения. Мне хотелось одного: как можно глубже уйти в себя. Врата тянули меня магнитом, эта сила была непреодолимой. Меня всасывало, как в «черную дыру».

Ученые говорят, что во Вселенной есть «черные дыры». Если рядом окажется звезда, «дыра» втянет ее в себя. Сила притяжения такова, что ее невозможно превозмочь, и звезда гибнет, целиком пропадая в «черной дыре». Никто не знает, что творится по другую сторону. Я думаю — и какой-то физик, вроде бы, уже нашел тому подтверждение, — что по другую сторону находится «белая дыра». У дыры не может быть одного конца, она всегда сквозная. Я познал это на своем опыте. Возможно, так устроена и вся Вселенная. Звезда гибнет. Когда она попадает в «черную дыру», мы видим, что звезда исчезает. Но в то же время в Космосе рождаются новые звезды. Откуда они берутся? В каких утробах созревают? Простой арифметики достаточно, чтобы понять: этими утробами являются «черные дыры» — в них гибнет старое и рождается новое.

И я сам пережил это, хотя я и не физик. В тот год невероятная сила тянула меня прочь, все дальше от людей. Я настолько отрешился от мира, что не узнавал порой родных отца и мать. Подчас я забывал даже, как меня зовут. Я изо всех сил старался припомнить свое имя, но ничего не получалось. Естественно, в тот год все окончательно убедились, что я сошел с ума. Но для меня это безумие было медитацией, а на самом пике сумасшествия врата наконец-то открылись...

Меня повели к вайдые, врачу-аюрведисту. В общем-то, меня водили к самым разным врачам и знахарям, но только тот вайдя сказал отцу: «Он ничем не болен. Вы напрасно тратите время». Конечно, меня все равно таскали то к одному специалисту, то к другому. Мне прописывали какие-то лекарства, а я говорил отцу: «Что ты так беспокоишься? У меня ничего не болит». Но никто мне не верил, мне говорили: «Помолчи. Выпей лучше лекарство, вреда ведь от этого не

будет?» И я пил — мне-то что?

Проницательным оказался только тот вайдья, а звали его Пандит Бхагхиратх Прасад. Старик уже умер, но он был на редкость проницательным человеком. Он просто глянул на меня и тут же сказал: «Парень ничем не болен». А потом он заплакал и признался: «Я сам давно добиваюсь такого состояния. Парню удивительно повезло. Мне в этой жизни уже ничего не удастся. Не нужно таскать его по врачам. Он уже почти достиг...» Слезы старика были вызваны радостью за меня.

Он был искатель. В своих исканиях он обошел всю страну из края в край. Вся его жизнь была чередой поисков и открытий. Он неплохо представлял себе, что именно ищет. Он стал моим покровителем, он защищал меня от других лекарей. Он так и сказал моему отцу: «Оставьте его у меня, я обо всем позабочусь». Он не давал мне никаких лекарств, а когда отец возмутился, прописал безвредные пилюли из сахара. Он сам мне об этом рассказал: «Это просто сахар. Принимай их, чтобы успокоить родителей. Вреда от них не будет. Пользы, впрочем, тоже. Тут никакие лекарства не помогут».

Когда впервые попадаешь в мир вне разума, это действительно кажется безумием: «темная ночь души», сумасшедший мрак души. Это отмечали все религии. По той же причине все религии настаивают на том, что перед проникновением в мир вне разума нужно найти себе Учителя — он будет рядом, он поможет и поддержит. Твой мир начнет разваливаться на части, но Учитель ободрит и вернет надежду. Он поможет тебе понять новое. Вот зачем нужен Учитель — он помогает понять то, что нельзя понять умом. Он помогает выразить то, что не скажешь словами, показать незримое. Он всегда рядом, он находит те средства, что позволят тебе продолжать свой путь, иначе ты можешь испугаться и свернуть с дороги.

Но помните, что бежать некуда. Если свернешь с тропы и помчишься в чащу, тебя охватит настоящая одержимость. Суфии называют таких людей маста, а в Индии они известны как безумные парамахансы. Назад вернуться нельзя, там ведь уже ничего нет. Вперед идти тоже невозможно, кругом темнота. Ты заблудился. Вот почему Будда сказал: «Счастлив тот, кто нашел себе Учителя».

У меня самого Учителя не было. Я искал, но так и не смог его найти. Дело не в том, что я не пытался, — поверьте, я искал очень долго, но так и не нашел. Найти Учителя трудно. Очень трудно найти существо, прекратившее существование. Трудно ощутить присутствие того, кто почти отсутствует. Искатели редко находят того, кто представляет собой просто дверь к Божественному — открытую дверь, через которую легко пройти. Это очень, очень трудно.

Сикхи называют свои храмы гурудвара, «двери Учителя». Вот кто такой Учитель — это дверь. Иисус часто повторял: «Я — врата, я — путь, я — истина. Идите за мной, пройдите сквозь меня. Если не пройдете сквозь меня, ничего не достигаете».

Да, порой бывает и так, что человек не находит Учителя. Если Учителя нет, приходится работать без него, но такое путешествие намного опаснее.

Целый год я пребывал в таком состоянии, что никто не мог бы предсказать, чем это обернется. Целый год я жил так, что с большим трудом поддерживал в себе жизнь. Даже такие простые вещи давались с огромным трудом, потому что у меня напрочь пропал аппетит. Шли дни, а есть мне совсем не хотелось. Шли дни, а я забывал даже попить воды. Я заставлял себя есть и пить. Тело стало таким нечувствительным, что я щипал себя, чтобы убедиться, что я еще тут. Я бился головой об стену, пытаюсь понять, есть ли у меня еще голова. Только боль могла ненадолго вернуть мне ощущение тела.

По утрам и вечерам я бегал. Я пробегал пять-восемь миль подряд. Все думали, что я свихнулся. Зачем столько бегать? Шестнадцать миль в день! Но я делал это лишь для того, чтобы

ощутить себя, чтобы почувствовать, что я все еще существую, чтобы не лишиться связи с самим собой — я просто ждал, пока глаза привыкнут к тому новому, что во мне зарождалось.

Мне приходилось очень стараться. Я ни с кем не говорил: мысли стали такими непоследовательными, что мне было невероятно трудно даже построить фразу. Я мог замолчать на полуслове, потому что забывал, о чем говорил. Я мог застыть посреди дороги, потому что забывал, куда шел. Я мог сидеть с книгой, прочесть полсотни страниц, а потом вдруг спросить себя: «О чем я читал? Ничего не помню». Мое состояние было очень странным...

Есть такая история. В кабинет психиатра врывается пациент и вопит: «Доктор, помогите! Я схожу с ума! Я все забываю! Я не помню, что было год назад и даже вчера. Я схожу с ума!»

«Хм, — сказал психиатр, — и когда вы впервые это заметили?»

«Что заметил?» — озадаченно переспросил пациент.

Со мной было то же самое! Мне было трудно даже закончить фразу. Я сидел взаперти в своей комнате. Я молчал, не произносил ни слова, поскольку сказать что-либо означало бы признаться в своем безумии. Так прошел целый год. Я просто лежал на полу, глядел в потолок и считал сначала до ста, а потом в обратном порядке, от ста до единицы. Хоть что-то у меня оставалось — например, эта способность считать по порядку. Все остальное я позабыл. Чтобы снова прийти в себя, найти какую-то точку отсчета, мне понадобился целый год.

Но это случилось. Это было настоящее чудо. Однако это стоило мне большого труда. Никто мне не помогал, никто не подсказывал, куда идти и что со мной происходит. Больше того, мне мешали, против меня были все — преподаватели, друзья и прочие доброжелатели. Все были против меня. Но они ничего не могли поделать, разве что стыдить меня или расспрашивать, что же это я делаю.

В том-то и дело, что я не делал ничего! Это было сильнее меня. Это просто происходило. Конечно, кое-что я все-таки сделал: сам о том не подозревая, я постучал в дверь — и она открылась. Я много лет медитировал, просто сидел молча и ничего не делал. И шаг за шагом я перенесся в то пространство, где ты просто есть, но ничего не делаешь. Ты просто есть — чистое присутствие, бездеятельный наблюдатель.

Нет, я ничего не делал. Я просто лежал, сидел, ходил — но там, в глубине, не было никого, кто что-то делает. Я утратил все честолюбивые мечты. У меня пропало желание к чему-то стремиться, чего-то достигать. Я просто погрузился в себя. Это была пустота, а пустота сводит с ума. И все же это единственный путь к Богу. Бога достигает только тот, кто готов сойти с ума.

Меня часто спрашивают: что я чувствовал, когда наступило просветление?

Я смеялся. Я хохотал от души, потому что постиг всю бессмысленность жажды просветления. Это действительно смешно, потому что все мы рождаемся просветленными, а желать того, что уже есть, совершенно бессмысленно. Если у тебя что-то есть, это уже нельзя обрести. Обрести можно только то, чего нет у тебя или в тебе. Но просветление — в нашей природе.

Я боролся за него на протяжении многих жизней, потому что за одну жизнь этой цели не достичь. За этот срок я делал все, что только возможно, но неизменно терпел неудачу. Я был обречен на провал, потому что просветления нельзя достичь. Как можно его обрести, если оно уже в твоей природе? То, что у тебя уже есть, не сделаешь с помощью честолюбивой мечты.

Разум честолюбив, он тянется к деньгам, власти и престижу. Но в один прекрасный день, когда он уже по горло сыт внешней деятельностью, его начинает манить просветление, освобождение, нирвана, Бог. Но это все то же честолюбие, изменилась только цель. Прежде цель была извне, теперь она внутри. Но твое отношение, сам твой подход ничуть не меняется — ты остаешься прежним человеком с прежними привычками.

Слова «день, когда я достиг просветления» означают только одно: в тот день я понял, что нечего достигать, некуда идти, не нужно ничего делать. Мы уже божественны, мы уже совершенны — вот и все. Не нужно никакого совершенствования. Бог всех нас создает совершенными. Даже если нам встречаются люди несовершенные, легко заметить, насколько совершенно их несовершенство. Бог никогда не создает чего-то несовершенного.

Я слышал историю об учителе дзэн по имени Бокудзю. Он объяснял своим ученикам, что все в нашем мире совершенно, и тут поднялся один человек, старый горбун. «А как же я? — спросил он. — Я горбун! Разве это совершенство?» А Бокудзю ответил: «Честно скажу, я никогда прежде не видел такого совершенного горба».

Говоря о дне, когда я достиг просветления, я говорю неправильно, потому что других слов в нашем языке не подобрать, ведь этот язык придуман человеком. В нем есть такие слова, как «достижение», «обретение», «цель», «совершенствование», «развитие», «прогресс». Язык придуман не просветленными. Честно говоря, они и не смогли бы придумать какой-нибудь язык, даже если бы захотели, потому что просветление приходит в тишине. Как выразить молчание словами? Как ни пытайся, но любые слова непременно нарушают безмолвие.

Лао-цзы говорит: «Изреченная истина есть ложь». Истину невозможно выразить словами. Но нам приходится говорить на каком-то языке, другого выхода нет. И потому мы всегда подчеркиваем одно условие: язык не может точно отражать переживания. Поэтому я и говорю: «в тот день, когда я достиг просветления». Но это было не достижение, и то был не я.

В тот день я смеялся над своими глупыми, смехотворными попытками обрести просветление. Я смеялся над самим собой и над человечеством, потому что все люди стараются чего-то достичь, что-то обрести, что-то улучшить.

Все произошло в состоянии полной расслабленности. Так оно всегда и бывает. Я испробовал все, что можно, а потом, увидев тщетность любых усилий, отказался от попыток. Я забыл о своей мечте. Целую неделю я жил совершенно обычной жизнью.

Люди, у которых я жил, очень удивились, потому что я впервые начал вести нормальный образ жизни. До того вся моя жизнь была подчинена суровой дисциплине.

Я жил в той семье два года, и они знали, что я встаю в три часа утра, потом совершаю четырех-пяти мильную прогулку или пробежку, потом иду купаться в реке. Таким был мой режим. Простуда или другое недомогание — все это не имело значения, я все равно следовал своему распорядку дня.

Они знали, что я провожу долгие часы в медитации. Вплоть до того дня я много чего не ел. Я не пил ни чая, ни кофе. У меня были жесткие правила насчет того, что мне можно есть, а чего нельзя. И вдруг я на целую неделю забрасываю все это. Однажды утром я сплю до девяти часов, а потом выпиваю чашку чая. Хозяйева дома были озадачены. Они спрашивали: «Что случилось? Ты заболел?» Они всегда считали меня великим йогом.

Вот одна мелочь, которая показывает, как это было. У меня на все случаи жизни был единственный лоскут ткани. Днем я ходил, завернувшись в него, а по ночам укрывался им как одеялом. Спал я на бамбуковой циновке. Вот и все удобства — одеяло и бамбуковая циновка. Больше у меня ничего не было, никаких вещей. В то утро, когда я встал в девять утра, хозяйева очень удивились. Они сказали: «Тут что-то не так. Ты, должно быть, сильно заболел?»

«Нет, я не болен, — ответил я. — Болен я был все эти годы, а теперь я, наоборот, выздоровел. Отныне я буду просыпаться, когда захочу, и спать ложиться буду, когда начнет клонить в сон. Я перестал быть рабом времени. А еще я буду есть и пить то, чего захочется моему организму. С меня хватит». За ту неделю я начисто позабыл про свою мечту о просветлении. Я забыл о ней навсегда.

А на седьмой день случилось это. Само по себе, безо всякой причины. Я расхохотался, и

этот смех услышал садовник. Он и раньше полагал, что я немного не в себе, но такого смеха никогда прежде не слышал. Он прибежал ко мне и спросил: «Что случилось?»

«Не волнуйся, — ответил я. — Ты же знаешь, я всегда был слегка тронутым, а теперь просто окончательно с ума сошел. Я смеюсь над самим собой. Не обижайся и не сердись. Можешь спокойно спать дальше».

Я трудился в течение многих жизней — работал над собой, боролся, делал все, что только можно было сделать, но все напрасно. Теперь-то я понимаю, почему ничего не получалось. Сами усилия становились преградой, сама лестница мешала подняться, само желание достичь было помехой. Это не значит, что добиться этого можно без поисков — нет, поиски необходимы, но рано или поздно наступает миг, когда их следует прекратить. Чтобы пересечь реку, нужна лодка, но рано или поздно приходит время вылезать из лодки, забыть о реке и оставить ее за спиной. Усилия нужны, без усилий вообще ничего не выйдет. Но и одни лишь усилия не приносят плодов.

Перед самым двадцать первым марта 1953 года, буквально за неделю до этого дня я перестал работать над собой. Настал тот момент, когда ты ясно видишь всю тщетность своих усилий. Ты уже сделал все, что можно, но ничто не принесло успеха. Ты сделал все, что в человеческих силах. Что еще остается? В этой полной безнадежности ты бросаешь все попытки. И в тот день, когда я прекратил поиски, когда перестал к чему-то стремиться и вообще на что-то надеяться, — в тот самый день это и началось. Из ниоткуда пришла новая энергия. У нее не было источника. Она пришла из ниоткуда и распространялась повсюду. Она была в деревьях, камнях, небе, солнце и воздухе — везде. Я так долго искал, я считал, что цель где-то далеко — а все было так близко, совсем рядом! Я направлял свой взор в даль, за горизонт, и глаза перестали замечать то, что было вблизи.

Когда исчезли усилия, исчез и я сам, ведь человек не может существовать без усилий, без желаний, без устремления. Это, личность, "я" — это не устойчивое явление, а процесс. Это не какая-то внутренняя субстанция, потому что мы вынуждены каждый миг воссоздавать ее заново. Все равно, что кататься на велосипеде: ты едешь, пока жмешь на педали. Если же перестать давить на педали, велосипед остановится. Конечно, он еще может проехать немножко по инерции, но, как только перестаешь жать на педали, велосипед начинает останавливаться. Он лишается энергии, толкающей вперед силы. А потом он просто падает набок.

[Читать полный вариант книги](#)